~~9(65)~~ 63.3(2 Кор2)
Д99

Л. ДЯДЮЧЕНКО

СЕРЕБРЯНЫЙ ГЛОБУС



Книга должна быть возвращена
не позже указанного здесь срока

Количество предыдущих выдач	

63.3(2Кыр)
9(654)
Д99

Л. ДЯДЮЧЕНКО

СЕРЕБРЯНЫЙ ГЛОБУС

ОШСКАЯ
областная
БИБЛИОТЕКА
Инв. №268267



Издательство «Кыргызстан»
Фрунзе — 1978

ХРАНЕНИЕ

Р 2
Д 99

Дядюченко Л. Б.

Д 99 Серебряный глобус. [Документальная повесть.] Ф., «Кыргызстан», 1978 ©

144 с.

Документальная повесть «Серебряный глобус» посвящена Пржевальску. Вернее тем былям, историям, которые так или иначе связаны с этим городом, с Прииссыккульем.

Верность призванию, дух поиска, сознание своей причастности к делам, судьбе человечества, его истории, науке составляет тот стержень, который и объединил внешне разрозненные очерки (будь то о географе Венюкове, ветврачe Ливотове, архивариусе Белоусовой и других персонажах) в единое целое.

Р 2

Д $\frac{732—65}{М\ 451(17)—78}$ 145—78

7—3—2

© Издательство «Кыргызстан», 1978

СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК ЗЕМЛИ

■

Теперь в этом можно признаться. Выждав, когда все уйдут, я просунул руку сквозь решетку ограды и наскреб из-под могильной плиты спичечный коробок земли — белесого, пахнущего жарой и пылью приисыккульского лесса. Утром мы погрузились вместе с прочими пассажирами на теплоход «Киров» и, пока это тихоходное суденышко, казавшееся нам самым что ни на есть «настоящим» кораблем, выбиралось на узкой горловине Каракольского залива, мы все смотрели и смотрели назад, на белый крутояр прибрежной террасы, на темное пятно карагачевой рощицы, на памятник, который тогда еще возвышался над молодыми деревцами...

Не помню, куда задевался потом этот спичечный коробок. Давно пошел на слом и неповоротливый деревянный теплоходик. От тех походов осталось только несколько изрядно пожелтевших фотографий да неутоленное и по сей день желание при всяком удобном случае вновь и вновь оказаться в этом городе, в его окрестных местах. Фотографии изображали знаменитый памятник с бронзовым орлом на скале, каменных баб, хмуро выглядывавших из затененных трав среди тро-

путых черпью столетних берез, забавных мальчишек в клетчатых рубашках и широченных бриджах. Мальчишки старательно позировали на самом краю обрывистого склона, сушили над костром мокрые ботинки, терпеливо тащились под полуденным солнцем к далеким аксуйским ключам, к тем самым, где когда-то, целых сто лет назад путешественник Семенов-Тян-Шанский видел деревянные двери со старинными тибетскими надписями: вот бы найти что-нибудь, неужели от тех времен ничего не сохранилось?

И еще эти мальчишки грызли сухари, комковой сахар, они пили «чай», то и дело подставляя кружки под размочаленную ветром струю горячего источника. Струя падала с высоты гранитного обрыва, над которым темнели ели. Это был самый необычный, самый вкусный «чай» в жизни, и в уже прожитой, и в еще предстоящей.

Пржевальск...

ТУРКЕСТАНСКИЙ СБОРНИК

■

Со временем захотелось узнать об этом городе как можно больше. Все перечитать, все выслушать, все исходить. И потом обо всем этом написать, ничего не упустив, ни одного имени, ни одной улицы. Разумеется, начинать надо было со старины, и тут я узнал, что для всего этого прежде всего нужно ехать в Ташкент, в библиотеку имени Навои, и там, в отделе редких книг проштудировать «Туркестанский сборник». Оказывается, есть такая книга. И в ней собрано «все-все» о Туркестане, а, значит, и о Пржевальске. Еду в Ташкент, прихожу в библиотеку имени Навои, получаю временный читательский билет.

— Мне бы «Туркестанский сборник»,— говорю я хранительнице отдела редких книг, пожилой, сухонькой, деликатно улыбающейся женщине.

— Весь? — странно спрашивает она.

— Да,— я отвечаю храбро, еще не замечая мягкого подвоха.

Снова улыбка. Видимо, я не первый такой... читатель.

— Может, вы сначала посмотрите библиографический указатель к сборнику?

Листать справочник мне не хотелось. К чему эти проволочки? Мне нужно скорей. Мне только бы добраться до самого сборника, там-то уж я разберусь, что к чему. Самое приятное — рыться наугад в старых книгах и без всяких на то посредников!

Все-таки мне принесли указатель. Хотел было заворчать, но во время разглядел, что это такое. Четыре объемистых книги. Что же тогда представляет собой сам «сборник»? Сколько томов?

...В 1868 году туркестанский генерал-губернатор фон-Кауфман обратился к крупному русскому библиографу Межову с просьбой взять на себя труд собирать все печатные материалы, имеющие отношение к Средней Азии. Фон-Кауфман покровительствовал путешественникам, ученым, и его просьбу можно было принять за честь. Да и как отказать генерал-губернатору?

Межов взялся за работу. За двадцать лет он изготовил 416 томов вырезок из газет, журналов и книг, а после его кончины таким же образом было сделано еще 175 томов. Итого 591 том. Невероятное, в единственном экземпляре издание, заглохшее со временем не от недостатка материала, а от избытка его! Вовремя спохватились библиографы, солоно бы им пришлось, вздумай они продолжать работу в наши дни. Четыре издательства в одном Фрунзе. Несколько ежедневных газет в одном Пржевальске. Мыслимое ли дело — с ножницами и клеем поспеть за печатными машинами хотя бы одного Фрунзенского полиграфкомбината! А каким образом «клеить» радиоочерки? Телерепортажи и документальные фильмы? А ведь это тоже «материалы, имеющие отношение к Средней Азии!»

Сижу над указателем и выписываю.

Арасанские источники. Том 60.

Озеро Иссык-Куль и его долина. Том 122.

Пржевальский и его путешествия в Средней Азии. Том 358.

А. Чайковский. Туркестан. Том 398.
Экспедиция к Хан-Тенгри. Том 406.
Венюков. Синяя книга. Том 409.
Корольков. О ветре в Пржевальске. Том 483.
Путешествие Мерцбахера. Том 498...

...Выписываю, а сам думаю: то ли делаю? Не пытаюсь ли я на свой лад повторить то, что когда-то старались сделать Межов и его последователи? Пржевальский «сборник»? Безнадежная затея. Да и зачем? Пусть это будет всего лишь несколько рассказов, несколько встреч, так или иначе связанных с этим городом... Да и почему, собственно, только с этим городом? Так ли она нужна здесь, раз и навсегда очерченная городская черта?..

СЕРЕБРЯНЫЙ ГЛОБУС

■

Пржевальск! Огненный вкус чуть ли не на ходу проглоченной дунганской ашлянфу. Фиолетовая, терпкая сладость всем известной пржевальской черной смородины; закупки этой ягоды приезжие начинают обычно с десятикопеечного кулька, а кончают эмалированными ведрами, ящиками и чемоданами. Фиолетовые пальцы. Фиолетовые губы. Несколько минут — и кулек пуст, надо идти за новым. Это нетрудно, базар рядом с автостанцией. Трудней уйти с базара: на его прилавках сквозь синий шашлычный дым багровеют египетские пирамиды не менее знаменитого, чем смородина, пржевальского апорта. Большущие, краснобокие яблоки так хороши, что есть их, резать на сушку, варить из них варенья немыслимо, только смотреть! Но, конечно, и едят, и режут, и варят варенья, да и не только варенья. Как утверждают местные патриоты, здешний плодовиносовхоз-комбинат — единственное в своем роде предприятие, производящее вино, не имея ни единого куста виноградной лозы. Все-таки, здесь довольно высоко, тысяча восемьсот метров над уровнем моря — какой уж тут виноград! Но зато ни в каком другом городе Киргизии вы не встретите та-

кого чистого, свежего воздуха, такого яркого солнечного света, таких белоснежных и многобашенных кучевых облаков, таких гроз, великолепно-ослепительных и яростных, нигде не увидите, чтобы рядом с традиционным туркестанским тополем, карагачем и березой мирно, корень к корню, ствол к стволу уживалась бы дремучая тянь-шанская ель — картина редкостная для среднеазиатских городов.

Да он и не похож вовсе на среднеазиатский город, Пржевальск. Длинные ряды некогда добротных купеческих лабазов и лавок. Деревянная, в кружеве резьбы, весело раскрашенная в голубое, белое, зеленое и коричневое церковь, впрочем, давно утратившая свои кресты и купола и обращенная в детскую спортивную школу. Аккуратные, белостенные, одно- и двухэтажные дома старой русской провинции, зачастую бревенчатые, с обязательными ставнями, резными карнизами и наличниками, с высокой террасой вокруг дома, с крутым парадным крыльцом. Рядом с крыльцом, между двух тополей — непременно скамеечка. Под голубыми наличниками — мальвы, розовые, белые, красные, их такое обилие всюду, что будь я автором герба города Пржевальска — мальвы фигурировали бы там обязательно.

И тополя. Конечно же, тополя! Высоченные, могучие, они так тесно стоят, так по-слоновьи раздались в толщину, что по иным аллеям только один человек и пройдет, второму не протиснуться. Да и одному человеку не очень ловко шагать по такой тропинке, так вздута, вспучена она бугристыми сплетениями корней, питаемых щедрыми соками здешней земли...

Нет, таких тополей в среднерусской полосе, наверное, не увидишь. И гулко журчащих арыков у их подножий тоже. И всадников в бело-черных «ак-калпаках», степенно проезжающих в сторону базара посередине улицы. И в зеленом каньоне этой улицы — белых

и голубых снегов совсем недалеких вершин... А это сооружение, всем обликом своим напоминающее буддийские пагоды, вовсе может сбить с толку: да где же, в конце концов, расположен этот город, в какой части света?

Туристов к зданию дунганской мечети привлекают рассказами о том, что, дескать, оно собрано без единого гвоздя. Что ж, и это верно. Три года изготовляли конструкции будущей постройки сорокалетний зодчий Чжоу Сы и прехавшие с ним мастера. А собрали за три месяца, продемонстрировав приемы каркасного и сборного строительства, выработанные китайцами за тысячелетия своей истории. Чжоу Сы курил трубку, пел песни, прямо по дереву рисовал орнамент. Ислам запрещает изображать живые существа. А из-под резца мастеров выходили то сказочные драконы с огненными шарами в зубах, то в зеленых зарослях — свиньи, обычные для буддийской религии и немыслимые для мусульман. Появлялись цветы и листья, одна за другой встали три десятка янтарного цвета колонн, поддерживающих пышное убранство карниза, взметнулись к небу пестрые, в голубую, красную, зеленую, желтую клетку фронтоны крыши, ее острые, круто выгнутые кверху углы...

Строительство было завершено 10 мая 1910 года. Но не только о песнях Чжоу Сы напоминают красные бутоны лотоса... После разгрома известного дунганского восстания остатки повстанческих отрядов во главе с народным героем Бай Янь-Ху бегут из внутреннего Китая вначале в Синьцзянь, а затем — в пределы русского государства. Зимой, предпочитая навечно остаться в снегах, чем дать настигнуть себя маньчжуро-цинским карателям, шли дунгане через оледенелые перевалы Центрального Тянь-Шаня. Одна из таких групп спустилась в ноябре 1877 года в Пржевальск. Им уступали дома, делились хлебом и одеждой,

а на следующий год неподалеку от города, в урочище Ырдык беженцы основали свое поселение...

Мечеть — действующая, пояснительных музейных табличек здесь нет. Я подумал, что смогу узнать что-либо в городском архиве, но никаких документов, связанных с историей экзотической постройки там не оказалось. Да я их больше и не искал. И я никак не мог считать свой визит безуспешным, наоборот, о большей удаче трудно было бы и мечтать. Я познакомился с городским архивариусом. С этого, наверное, и надо было начинать.

* * *

Архивариус... Лезу в словарь, проверяю, так ли уж точно знаю смысл этого старинного, почему-то всегда казавшегося забавным мне слова. Не вспомню отчего, но я привык видеть за ним чистенького, как белая мышь, старичка, с тонкими закрученными вверх усами, юркого, бесшумного, ловко перебирающего душные от пыли бумаги своими розовыми, цепкими лапками...

Архивариус. Заведующий архивом.

* * *

— Лида, к тебе.

Она появляется на пороге, и я снова вижу ее доброе, с медлительной усмешкой лицо. О таких лицах говорят — простое. Простая улыбка. Простая жизнь. Может, оно и так. Прохожу в горницу, а шагов не слы-

шу, весь пол — в толстых рукодельных половиках, вокруг та белизна, та чистота, что бывает в таких вот небольших, среднего достатка домах, где все сделано своими руками, где каждая новая вещь — событие, о котором помнят.

— Здравствуйте, Лидия Хрисантовна.

На комоде — большой портрет смеющейся девочки. Внучка. Лишь на фотографии ее и видят. Выросли дочери, выучились, тесно им стало в Пржевальске, теперь разве что в отпуск и приезжают, отца с матерью проведать, да и то не всегда. А у нее вся жизнь здесь прошла, и улица Королькова, на которой живет,—улица ее детства. Когда Корольков умер — ей было шестнадцать лет. Она хорошо помнит этого необыкновенного старика, деликатного, ясного, с ласковыми, умными глазами, помнит мягко опущенные вниз усы, мягкую улыбку, белые протуберанцы волос вокруг высокого мудрого лба. Возле дома Корольковых росли дремучие, темнокорые тополя. Грачей в них разводилось столько, что подчас от их крика невозможно было уснуть. Не выдерживал даже Ярослав Иванович, хотя он и плохо слышал: когда-то в молодости рядом с ним разорвалась пушка. Он призывал на помощь соседскую ребятню, ребятня рушила гнезда. Потом Корольковы устраивали для своих спасителей «прием», кормили обедом, поили чаем, а Ярослав Иванович показывал метеостанцию или начинал рассказывать. У него была великолепная память, он знал несколько языков, он говорил, что выучить язык для него самое простое дело. Стоит только приказать себе, а приказы, как человек военный, он привык исполнять.

Вечером, когда в доме гас свет, Ярослав Иванович уходил в свою комнату и начинал декламировать. Он знал наизусть первые песни Илиады и изо дня в день прибавлял к уже запомнившимся несколько новых строф. Так нравилось детворе красться по скрипучим

половицам к дверям его кабинета и там, затаившись, слушать непонятные, но и тогда казавшиеся прекрасными стихи. Потребовалась жизнь, чтобы воистину осознать эти мгновенья, поразиться им, в странном слиянии восторга и печали представляя, как в неимоверной глуши, в страшном захолустье, на самом краю погруженной в ночь империи человек учит наизусть Гомера, ежедневно, ежечасно выдирая себя из обывательской трясины и сытого растительного благополучия.

— Ныне поведайте, Музы, живущие в стенах Олимпа:
Вы, божества, вездесущи, и знаете все в поднебесной;
Мы ничего не знаем, молву мы единую слышим:
Вы мне поведайте, кто и вожди и владыки Данаев?

Эхо жизни дедушки Королькова нет-нет да и всплывет из самых отдаленных глубин времени. 1889 год. «Известия Императорского русского географического общества». Под рубрикой «Вести из экспедиций в Центральную Азию» публикуется письмо Всеволода Ивановича Роборовского. Письмо из Яркенда... Роборовский сообщает, что, оправившись от внезапной кончины Пржевальского и перезимовав в Караколе, осиротевшая экспедиция, наконец, выступила в путь. За Ырдыком их догнал Корольков. Пробыл с ними два дня, совершил с Роборовским небольшую ботаническую и энтомологическую экскурсию, проводил до Барскоона. Здесь 17 мая они простились, и Корольков уехал в Каракол, увозя последние приветы и просьбу «беречь дорогую могилу Николая Михайловича».

— Он нас уверил, что передаст первое и будет заботиться лично о втором...»

— Итак,— продолжал далее Роборовский,— сегодня мы разлучились с последним добрым русским человеком, которому во многом обязаны: во время снаряжения экспедиции он с таким участием помогал и теперь с такою искреннею теплотою сердечно провожал нас...

* * *

Дом Белоусовых — угловой, одни окна смотрят на улицу Ломоносова, другие — на улицу Королькова. Домик Королькова — прямо напротив, окна в окна, от тополей, правда, только пеньки и остались, но березы как стояли, так и стоят. Чуть наискось, гранича садами с Корольковыми, жил дедушка. Он был в большой дружбе с Ярославом Ивановичем, а благодаря ремеслу повара был вхож в дома и других именитых пржевальцев. Мама тоже ходила стряпать по домам, и те истории, которыми она иногда делилась, казались интереснее книжек. Теперь впору локти кусать, что не записывала, что только в памяти и хранила, да и то между прочим. А память — круги по воде. Теперь попробуй, разыщи что-нибудь о семье начальника таможни Михайлова, а ведь мама хорошо знала эту семью. С Михайловыми был близок старший брат Михаила Васильевича Фрунзе — Константин Васильевич. У Михайловых трагически погиб сын — Михаил. Его-то паспорт и сослужил верную службу скрывавшемуся после сибирской ссылки Михаилу Фрунзе, направленному партией на подпольную работу в войсках Западного фронта, в Минск. Вот он откуда, некий Михайлов, командовавший минской милицией в дни февральской революции и командовавший вовсе не так, как хотелось бы эмиссарам временного правительства!

Была у Михайловых и дочь — Нина. Она училась, кажется, в Петербурге, так что каждый ее приезд на родину был событием не только для родителей. Последний — особено, он был окружен тайной, шепотом, неясными слухами о том, что дочь Михайловых — «народоволка», из тех самых, которые шли с бомбой на царя. Потом Нина исчезла. Осталась легенда, слухи — круги по воде. Расспросить бы маму, она частенько бывала в доме начальника таможни, но мама давно

умерла, а отца, гарнизонного солдата, Лидия Хрисанфовна и вовсе не помнит, так рано он умер. Себя привыкла считать молодой, без устали моталась в командировках по всему Прииссыккулью, но, как-то «прихворнув» и с трудом осилив после болезни лестницу на второй этаж, где расположен ее служебный кабинет, вдруг вспомнила, что осенью стукнет ровно двадцать пять лет, как она работает в архиве. Четверть века в архиве! Звучит прямо-таки пародийно, а никуда не денешься, так оно и есть.

Вот уже не думала, что когда-нибудь станет архивариусом! Разве об этом мечталось, когда вслед за учителем карабкались они в детстве к вечным снегам Терскея, слушая восхитительные импровизации о дальних странах, описываемых так, будто Николай Михайлович только что оттуда. Он был любимым учителем, этот преподаватель географии. И география стала любимым предметом. География и история. Мальгин привлекал ребячьи сердца еще и тем, что в его руках оживал любой имевшийся в Пржевальске музыкальный инструмент. И еще все хорошо знали о том, что в Пржевальске Мальгин появился в тот самый день 1920 года, когда с развернутым красным знаменем, под медноголосый гром, исторгаемый жарко пылающими трубами музыкальной команды, вошел в Пржевальск 23 туркестанский полк...

* * *

...Кончила педагогический институт, восемь лет преподавала в начальных классах. Расставаться с ребятней не хотелось, но что делать, шла война, надо было кормить большую семью, а в архиве давали неплохой по тем временам паек. Утешала себя, что еще вернется в школу, что эти бумажки — временно, пото-

му что нельзя же заниматься ими всерьез, за ними нет жизни, они никому не нужны, она тотчас уйдет от них, едва кончится война и жить станет легче.

Жить стало легче, но она не ушла из архива. Бумажки, казавшиеся ей никому не нужными, со временем доказали, что могут быть дороже последнего куска хлеба. В детских домах Прииссыккулья было много детей из осажденного Ленинграда, и теперь в Пржевальск шли бесконечные запросы, на которые надо было отвечать. Многие детские дома были впоследствии закрыты, переведены, документы хранились неумело, а то и вовсе утрачены. Подчас по одному запросу, приходилось перебирать дела всех детприемников, всех детдомов. Но что значили эти труды по сравнению с той радостью, когда удавалось помочь отцу разыскать сына, когда отчаявшаяся в одиночестве мать получала первую путеводную ниточку в поисках разметенной войной семьи.

Память тех лет, трансформированная самым подчас неожиданным образом, вдруг оживает то в газетной заметке о герое-панфиловце из Прииссыккулья, то в солидном научном издании Рубена Орбели, посвященном истории водолазного дела и гидроархеологии. Открываешь эту книгу, а там... поэма. Об Иссык-Куле. И кого? Академика В. Филатова!

В страну киргизскую судьбою
Я уведен от вражьих пуль.
Окончен путь и предо мною
Колышет волны Иссык-Куль...

Эвакуация, война, но даже в эти суровые, полные испытаний и горя дни академик не может устоять перед чарами горного моря, его преданьями и тайной.

... В былые годы, в век минувший
В меня был город погружен,
И этот город потонувший
Доныне мною охранен.

Участники гигантской драмы
В моих водах нашли конец.
О небо! Ты увидишь храмы,
Среди зубчатых стен — дворец.

Он весь зарос травою дикой,
Полуразрушен древний храм,
Покрытый скользкой мозаикой...

* * *

Раньше в городе и не знали, где он расположен, архив. Со временем же он превратился в некое справочное бюро, даже стол справок пришлось организовать, даже в газете выступать понадобилось, что может, а чего не может архив. Ведь не только благодарности выслушивать приходится, но и упреки, и обвинения в бюрократизме, черствости, да и чего не скажет до глубины души обиженный человек, когда они оказываются не в силах ему помочь? Всю долгую жизнь он работал, то создавал колхозы, то выводил на поля первые тракторы, тогда ли было помнить о здоровье, о каких-то бумажках и справках? Смешно было даже думать, что когда-нибудь он будет оббивать пороги канцелярий, будет хлопотать о пенсии, он, боевой комсомолец и ударник труда!

Хлопочет! И теперь все решают бумажки и справки. Теперь получается, что не так уж он и трудился, больше, можно сказать, бездельничал, даже пенсия нормальная ему не положена, поскольку стаж работы документами не подтвержден. А получается так по той простой причине, что где-то дела вела безграмотность и бестолковщина, что где-то архив утерян, где-то уничтожен, и так далее и тому подобное, за объяснениями дело не станет. Но что толку в этих объяснениях? Человеку надо жить. Вот счастье, когда после долгих поисков вдруг удавалось вернуть хотя бы на бумаге без следа, казалось бы, затерянные годы.

областная
БИБЛИОТЕКА
Инв. № 268267

Вот что главное. А подчас и не главное. Главное подчас заключается в том, что если уходит на пенсию капитан Федор Игнатьевич Рабочих, то вместе с ним в тихий домик по улице Иссык-Кульской замыкается и необъятный, пронизанный солнцем и морской синью мир, и восьмилетний мальчонка на белом от соли берегу, и все ветры, от остовых до вестовых, и вся история иссыккульского пароходства, вместившаяся в жизнь вот этого немногословного человека с такой на редкость точной, говорящей фамилией — Рабочих.

И этот мир забвению отдавать нельзя. Ведь капитал, из поколения в поколение приумножаемый человечеством — это в самой малой степени слитки золота в бронированных подвалах, гигантские заводы, распустившие дымы на все небо, или даже всемирно известные музеи и книгохранилища, какими бы сокровищами они ни обладали. Но и те драгоценные крупицы глубокой человечности, жизнелюбия, душевного мужества и щедрости, которыми вдруг озаряется прожитое в судьбах ничуть не именитых, ни в бронзе, ни в стихах не увековеченных наших сограждан. Пусть по масштабу, значимости своих дел не станут они героями романов из серии «Жизнь замечательных людей», пусть не мельнут их имена в чьих-то мемуарах, или хотя бы в тех очерках, что обычно печатаются в толстых и тонких журналах под рубрикой «Встречи с интересным собеседником». Бесспорно одно: мы будем беднее, если не сохраним для себя хотя бы малую толику того, что составляло сущность этих людей в самые высокие мгновенья их жизни. И тут надо уподобиться старателю. Старатель берет ковш и идет вверх по реке. Он берет речной грунт прямо из-под ног, и его нисколько не смущает самая что ни на есть обыкновенность оказавшегося в ковше материала. Старатель моет шлих. Он делает это не спеша, ибо знает, что делает.

Вода уносит все пустое, наносное, еще несколько движений, и на дне остается лишь самое главное — рудные частицы, металл...

* * *

— Наше море небольшое, но довольно синее.

Эти слова звучат у капитана Рабочих как присказка, как рефрен. И, значит, надо напроситься к нему в гости, надо отведать, махнув рукой на сердце, домашнего яблочного вина. Но и хозяину спуску не давать, когда дойдет очередь до дела, когда созреет мгновенье положить перед ним лист бумаги, карандаш и самым категорическим образом приказать.

— Пишите, Федор Игнатьевич.

Нелегкое для него дело — вспомнить, когда он впервые попал на озеро. Отец привез. Не то в шестом, не то в восьмом году. Штук шесть парусников тогда и было на Иссык-Куле, купцов Сулейманова да Решетниковых. Лес возили. Из Барскоона. Три-четыре рейса в сезон, потом — на прикол, ждать лета. Волна крутая на Иссык-Куле, одолевать на тех судах трудно было, но вот ведь какая штука, только тогда и чувствовал себя моряком, когда под парусом ходил. Перешел на машину — вроде кондуктора стал.

— На машину?

— Ну да, Болиндер, сто десять лошадиных сил. Он был на «Пионере» установлен. «Пионер» и «Прогресс» — два теплохода, они были спущены на воду в 1926 году. Теперь эту дату годом основания пароходства считают, даже юбилеи отмечают, дескать, не забыли, помним. Все ли помним? Коммунаров-то забыли! Осенью 1920 года коммуна «Путеводная звезда» спустила на воду двухмачтовую закрытую шхуну «Коммунар». Надо было ставить жилье для трехсот семей, а лесозавод был за озером, в Джергалчаке. Понадобился флот. Построили катер «Красный восток»,

подняли и отремонтировали затонувший трехмачтовик купца Сулейманова. Его еще называли трактовиком. Это было первое судно Утрамота. Утрамот? Как бы перевести это ископаемое, доисторическое слово? Управление семиреченского тракта, морское отделение, так что ли?

Коммуна передала свои суда Утрамоту в 1921 году. На них из богатого хлебом Прииссыккулья зерно доставлялось в Рыбачье, а оттуда — в голодную Россию. Разве это забыть? Разве забыть, как спускали на воду «Юного коммунара»? Весь город съехался: революционные песни, красные знамена, такое торжество было, да вот, смотрите, здесь же все видно!

И на столе появляются фотографии. Ни одной из них не быть напечатанной в модных фотографических ревю с их головоломными изысками в области светопередачи, ракурса и крупного плана. Слава богу, что фотографы тех лет не знали или не хотели знать крупного плана! Вот удача, что по своей «непрофессиональности и наивности» они пытались объять необъятное, стремясь снять все разом, на одну кассету, озабоченные, лишь тем, чтобы поместился весь взвод, вся застава, вся коммуна, и ее первый трактор, и приветствия мировой революции на свежевыбеленной стене, и чтобы все было резко, до единой буковки, до напряженных зрачков молоденькой коммунарки в самом последнем, стоящем на скамейке ряду. По нынешним меркам они не были «большими» мастерами. Их ничуть не заботило, как будет выглядеть авторское «я», какими творческими открытиями обогатят они фотоискусство. Они слишком уважительно относились к происходящему, чтобы личное видение как-то сказалось на изображении, смещая акценты, выпячивая одно и убирая в тень другое. Фотографирование было священодействием, торжественным актом, вот почему застывали глаза и деревенели лица, вызывая подчас снисходительную

улыбку. Но эти просвещенные улыбки по меньшей мере бестактны. Ибо фотодокументы могут рассказать о времени то, перед чем оказываются бессильны самые доскональные свидетельства бытописцев и хроникеров.

— А вот в середине, кто это?

— Вот он и строил наши первые посудины. Корабельный мастер Семен Коростылев. А заводилой был Щетина. Щетина был заядлым моряком. Да он всю жизнь что-нибудь изобретал. Теперь знают Щетину как предприимчивого, щедрого на выдумку агронома. Но мало кто знает, что когда-то Александр Спиридонович работал в каракольском отделении Утрамота, был начальником его, то есть «главнокомандующим» всем иссыккульским флотом. «Главнокомандующий» ходил босиком. Не потому, что был толстовцем, просто обуви не имел. Тогда многие так ходили. Все же местные власти неловкость испытывали — номенклатурная личность — и в таком виде. Выдали Щетине сапоги. Вышел Александр Спиридонович с обновой в руках, а навстречу — даже неизвестно кто — прохожий какой-то. И босиком. Вручил ему Щетина сапоги, вздохнул облегченно и на пристань... Так вот, Щетина...

Задумчив капитан. Конечно, кое-какие фотографии он передаст архиву, но не все. Не может. Ведь от некоторых судов, а с ними жизнь прошла, только снимки и остались, а корабли — отплавали свое. Местная ель не выдерживает иссык-кульской воды, больше десяти лет не служит. Люди — выдерживают. — Вы напишите капитану Адволоткину,— советует Рабочих,— он тоже долго плавал, теперь где-то в Днепропетровске... Может он что пришлет?

Написала капитану Адволоткину. И получила бесценную бандероль — сорок семь фотографий. Написала полковнику в отставке Николаю Ивановичу Лысову — один из первых военных комиссаров уезда прислал интересные воспоминания и редкую фотогра-

фию — празднование в Пржевальске 1 мая 1921 года. До Лысова военкомом уезда был Иван Яковлевич Терно. Разыскала и его адрес, но комиссар не смог ответить — тяжело болен. Остается ждать и надеяться. Да корить себя за то, что не обратилась к Ивану Яковлевичу раньше. Нехорошо, нельзя так думать. Но нельзя и не думать. Подчас люди уходят из жизни куда неожиданней, чем те корабли, о которых говорил Рабочих. И к ним можно опоздать. Вот так же, как опоздала к Павлу Ивановичу Ливотову, одному из самых уважаемых старожилов Пржевальска. А ведь всю жизнь прожила рядом! И все собиралась зайти. А собралась — смертельно больной человек смог только поставить факсимиле под своими воспоминаниями, записанными уже другими.

Ливотовы подарили ей свою фотографию. Она хранит ее под стеклом рабочего стола, подолгу вглядываясь в теперь уж далекие молодые лица, озаренные верой, надеждой и любовью. Такие фотографии нужно показывать в школе, когда приходит черед говорить о русской интеллигенции, говорить, может быть, не с меньшим восхищением и признательностью, чем, скажем, о декабристах. В самом деле, много ли мы знаем о тех, кто из того же Петербурга, из той же Москвы ехал в Сибирь или вот сюда, в Туркестан, в Семиречье, не под надзором жандарма с шашкой наголо, а волею своего сердца, своих дум, осознанно обрекая себя на глушь и безвестность? Они ехали многие недели, в седле и на почтовых тройках, ехали не на год, не в экспедицию — ехали семьями, с детьми — навсегда. Сквозь пески Бухары, сквозь снежные смерчи казахских степей не за лаврами первоокрывателей новых земель, а всего лишь бороться с оспой, холерой и трахомой, делать прививки и принимать роды, учить грамоте, неся в народ имена Пушкина и Чернышевского, Белинского и Толстого.

Таким Лидия Хрисантовна представляет себе и врача Барсова. Это тем более легко сделать, что теперь в архиве есть фотопортрет Николая Матвеевича, присланный его весьмидесятичетырехлетней дочерью — Клавдией Николаевной Барсовой. Барсов? Барсовский сад? Знакомые с детства берега скачущей по камням Караколки, таинственные дорожки в тоннелях сплетенных воедино ветвей, высоченные тяньшанские ели, а на их сумрачном фоне — светлая акварель берез и фруктовых деревьев. В те давние времена, считавшийся лучшим в Семиречье городской парк Пржевальска назывался «барсовским». По имени человека, заложившего, вырастившего этот действительно замечательный парк-сад. Барсов был гарнизонным врачом, первым городским старостой. Он приехал в Пржевальск двадцатитрехлетним выпускником московского университета и отдал городу два лучших десятилетия своей жизни, не только врачуя людские недуги, но и занимаясь устройством первой в крае публичной библиотеки, выступая в любительских спектаклях, изучая аксуйские ключи. Тем приятней было узнать, что в Ленинграде живет его дочь, которой наверняка есть что рассказать о своем отце.

Барсова ответила сразу. Она была так тронута вниманием к памяти Николая Матвеевича, что письмо начала с шутливой угрозы — ничего не присылать в Пржевальск до тех пор, пока Лидия Хрисантовна у нее не погостит. Но, конечно, прислала. И не только его портрет, но и любопытнейшие фотографии киргизского аила, Боомского ущелья, пржевальского драматического общества, а главное — церемонии открытия на иссыккульском берегу одного из красивейших памятников когда-либо созданных в России — памятника Пржевальскому.

Петику и писать не нужно было. Надо было просто к нему зайти, что она и сделала, как только узнала

о старом пограничнике от общих знакомых. Иван Прокопьевич передал ей множество фотографий первых пограничных застав, пограничных разъездов, обрела зримые образы новая для нее страничка в истории города, страничка борьбы с контрабандой, с басмачеством, каждая строка которой отмечена суровой романтикой и мужеством. Теперь у нее было 28 самых различных рукописей-воспоминаний и сотни, буквально сотни фотографий, с которыми надо было что-то делать. Конечно, она разыскивала их для того, чтобы сохранить. Но сохранить для чего? Почему эти интереснейшие материалы должны пылиться на полке, пока кому-то не потребуется о них вспомнить? Надо срочно пускать их в дело. Но как? И почему этим должны заниматься они, работники архива, они-то причем?

При том. Просто она встречает иногда совсем уж старенького, но еще ведущего где-то музыкальный кружок Николая Михайловича Мальгина, и ей всякий раз хочется делать хоть на чуточку больше, нежели она делает сейчас. Просто она вспоминает по разному поводу бабку Горшиху, и это заставляет ее поторапливаться, чтобы снова не упустить в чужие руки то, что никак нельзя упускать. Бабушка Горшиха готовила когда-то самому Пржевальскому, хорошо его знала, и Николай Михайлович надписал ей однажды свою фотографию. Всю жизнь хранила подарок бабка Горшиха, а когда умерла, и фотография попала в архив — Лидия Хрисантовна обнаружила, что хранила Горшиха всего лишь копию, а сама реликвия — где она, ищи ветра в поле! Выпросил, наверное, кто-то у старухи оригинал «посмотреть», а подсунул серенький перепечаток. Трудно что ли перехитрить едва живую от ветхости старуху?

Да и не только старуху. У Магдалины Николаевны Любимовой, внучки Королькова, в памяти куда более яркий пример. Когда-то оказался в Пржевальске не-

кий ученый муж из Москвы. Столичному гостю были оказаны соответствующие знаки внимания, гость быстро сориентировался и в качестве сувенира соблаговолил принять от тогдашних руководителей две библиотечные книги. Всего лишь две книги. С той небольшой особенностью, что принадлежали они перу Пржевальского и на титуле каждой была его дарственная надпись.

Великий исследователь Центральной Азии преподнес эти книги Ярославу Ивановичу Королькову. У Королькова вообще была великолепная библиотека, насчитывавшая более двух тысяч томов. Он выписывал книги не только из Петербурга, Москвы, но и из Англии, Франции, а когда в Пржевальск пришла революция — подарил библиотеку городу. К сожалению, общественный читальный зал — не лучшее место для хранения редких книг. А у Королькова были редкие книги. Магдалина Николаевна вспоминает, что один близкий Корольковым офицер, ездивший лечиться во Францию, провез через кордон предварительно разброшюрованную и зашитую в кожанный корсет изданную в Париже книгу Льва Толстого — «Воскресенье». Русская цензура запрещала тогда издание этого романа, и он впервые вышел в свет на французском языке. Ярослав Иванович, а он умел и любил переплетать книги, «одел» контрабандный подарок в сафьяновый переплет, и несколько вечеров в доме Корольковых, в кругу близких и друзей шли настоящие толстовские чтения. Где она теперь, эта книга в сафьяновом переплете?

* * *

Невозможно не заразиться поиском, когда то там, то здесь слышишь подобные домашние преданья. А Пржевальск не отпускает. Он выкладывает одну исто-

рию за другой и просто не знаешь, какую из них слушать. Памятник в парке? Здесь лежат командир разведки Иосиф Чернов и пулеметчик Федор Бовдуй, погибшие в бою с белогвардейцами в июле 1919 года. Дом с мемориальной доской на улице Дзержинского? Здесь, в доме купца II гильдии Ильина размещался в годы революции Уездный совет депутатов трудящихся, а теперь — городская библиотека и краеведческий музей им. Пржевальского. Его не надо путать с музеем Пржевальского, тот расположен на пристани, у памятника, в яблоневом саду, разросшемся в последние годы над Каракольским заливом.

Сливкино? Так прежде называлось одно из сел в окрестностях Пржевальска. Основатель его, тамбовский мужик Сливкин уже в преклонном возрасте дважды ходил пешком на богомолье, и куда, в Киев! Заодно, тем же порядком, пешочком захаживал на родину; чем не путешественник, да еще какой!

А в Пржевальске есть улица Юлиуса Фучика. Не потому ли именно она так называется, что ведет к горам, где будущий автор «Репортажа с петлей на шее» испытывал себя на крутизне горных киргизских троп? — Так далеко от тебя я, кажется, еще никогда не был,— писал он Густе из Пржевальска, надеясь на следующий день, утром 29 октября 1935 года выехать в Рыбачье, в обратный путь. Но так и не выехал, потому что пароход бывает лишь раз в четыре дня, а машины, хотя ему помогала «сама инспекция Кирдортранса», найти не смог. Ходил в горы, заблудился и спустился вниз уже в глубокой тьме, долго отогревался чаем, водкой, разбирал собранные материалы, записные книжки, писал письмо.

— И знаешь, что здесь больше всего удивляет? Везде, в самых отдаленных уголках необыкновенно чувствуешь советскую власть и всюду замечаешь невероятный рост...

Не уехал он и на следующий день. Узнал, что дороги развезло, что почту в Пржевальск теперь, вероятно, будут доставлять на лошадях, что и самому ему придется, по всей видимости, добираться верхом, в чем он не видит, конечно, ничего страшного, но долго, слишком уж это долго!

— Каракол считают самым красивым городом в Киргизии,— садится он снова за письмо 31 октября,— по всей вероятности, так оно и есть. Когда приезжаешь сюда из голого и пыльного Рыбачьего, или спускаешься с перевалов, ведущих в Китай, сердце подскакивает от радости: здесь веселые тополя, большой парк. Но города, города здесь, конечно, еще нет...

Письмо это из Пржевальска он так и не отправил. Оно проделало с ним весь утомительный путь до Ташкента и попало в почтовый ящик лишь седьмого ноября.

— Всем передавай от меня привет. Большой привет домашним. Не забывай о себе, Густина. И обо мне тоже...

...Не только Густа Фучикова помнит теперь о нем. А чехословацкие пограничники подарили советским товарищам по оружию памятник Юлиусу, при жизни нередко гостившему у «зеленых фуражек» в поездках по Средней Азии. Встретившись с Густой Фучиковой, об этом подарке узнала Драгомира Маречекова, дочь одного из первых большевиков Пржевальска — Рудольфа Павловича Маречека. И хотя памятник был установлен в Москве — копия оказалась в Пржевальске. И теперь улицу Фучика открывает четырехгранный обелиск с обращенным к горам лицом Юлиуса, с обращенными к людям словами в смертную минуту исторгнутого из глубины души признания в любви и призыва к бдительности...

Улицы должны иметь говорящие имена. Наверное, в каждом городе есть улица Юрия Гагарина, хотя, ра-

зумеется, в большинстве из них космонавт так и не побывал. Но в Пржевальске он был, и город помнит об этом. Улица Юрия Гагарина.

Кутана Торгоева знали многие пржевальцы, старые пограничники — особенно. В трудные для них тридцатые годы каракольской комендатуре приходилось рассылать опергруппы за многие десятки и даже сотни километров, за перевалы и ущелья, которые на картах тех лет не были даже обозначены. Иногда, если вдруг отказывал капризный «льюис», и на четверку пограничников накатывала басмаческая лава, кто-то привозил потом в комендатуру изрубленные, страшные тела, в которых не так-то просто было узнать еще вчера веселых, никогда не унывавших боевых товарищей. Их хоронили в парке, гремел троекратный салют, и в горы уходили новые дозоры. До басмачей добирались в самых головоломных ущельях, контрабанду перехватывали на самых потаенных тропах. И если пограничники не знали дороги, вперед выходили проводники, люди, не только ролившиеся и выросшие в горах, но и научившиеся разбираться в том, кто есть друг и кто враг. Проводником был и Кутан Торгоев, вначале — безграмотный, замордованный баем пастух, потом боевой орденоносец, участник многих операций по ликвидации бандитизма в горах Прииссыккулья. И город помнит об этом. Улица Кутана Торгоева...

* * *

Вот только улицы Каульбарса в Пржевальске никогда не будет. А казалось бы, в первую очередь должна быть. Как-никак, почетным гражданином был, даже воспоминания написал, словно знал, какую охоту за произведениями подобного рода устроит спустя полвека пржевальский архивариус. Воспоминания генера-

ла от кавалерии барона Александра Васильевича Каульбарса! Лидия Хрисантовна наткнулась на них совершенно случайно, буквально выхватив из рук истопника, швырявшего в огонь подлежащие за давностью лет уничтожению бумаги когда-то существовавшей здесь комендатуры. Витиеватым почерком первого штабного писаря воспоминания с протокольной точностью свидетельствовали о том, как штабс-капитану лейбгвардии Егерского полка барону Александру Васильевичу Каульбарсу, причисленному после окончания Академии к Туркестанскому военному округу, было поручено произвести рекогносцировку Заиссыккульского Тянь-Шаня, а главное — выбрать новое место для города и укрепления, которые неудачно, в стороне от караванных путей были расположены в Ак-Су.

Караван Каульбарса вышел из Верного 31 мая 1869 года. Барона сопровождали капитан Семякин с людьми — для постройки оборонительных казарм, и два топографа — Рейнгард и поручик Петров, тот самый Петров, именем которого был назван ледник в истоках Нарына. На девятый день отряд увидел Ак-Су — невзрачную казарму да кучку обшарпанных домишек; многие из них пустовали — их владельцы переселились в низовья речки Каракол, основав небольшой поселок.

Вместе с уездным начальником—капитаном Андреем Петровичем Чайковским Каульбарс принялся исправлять ошибку своих предшественников.

— Рисовалась в нашем воображении,— писал он впоследствии,— картина прибрежного города, с пристанями, пароходами, прекрасными купальнями, обслуживающими чудный по климатическим условиям курорт. Но пример Ак-Су слишком живо стоял перед нашими глазами.

Барон Каульбарс оказался обстоятельным человеком. Он опросил местных жителей, советовался с кир-

гизскими старшинами и теми переселенцами, что ушли из Ак-Су в низовья Каракола. Помогала и глубокая осведомленность Чайковского в тонкостях здешних обычаев и взаимоотношений, в экономике и географии Прииссыккулья. Каульбарс отзывается об уездном начальнике как об умном, образованном и душевном человеке, задав Лидии Хрисантовне еще одну нелегкую задачку — хоть что-нибудь разыскать об этом малоизвестном пионере освоения края.

История знает немало примеров, когда стихия стирала с лица земли города, простоявшие столетья. Перо барона Каульбарса зафиксировало случай, когда город потерпел катастрофу, еще не появившись на свет. Барон и капитан Чайковский жили в юрте, здесь же на столах были разложены топографические планшеты с почти готовыми планами разбивки города. В одну из ночей страшная по силе гроза снесла юрту, разметав неизвестно куда все, что в ней находилось. Казалось, бумаги пропали безвозвратно. Но они были найдены. Едва рассвело, на помощь изыскателям пришли киргизские кочевья, сотни всадников отправились по следам бури разыскивать пропажу. Этот город они искали не для себя. И потом, на протяжении многих десятилетий, они появлялись на улицах Каракола только для того, чтобы продать перекупщику скот, купить несколько метров ситца, наняться в работники. В истории дореволюционного Пржевальска не значится киргизских имен. Они — достояние новой истории города, нашей истории. Но для этого потребовалась иная буря, не чета той, что когда-то снесла юрту барона Каульбарса.

...Итак, выбор пал на Каракол. Застучали топоры, задымила кузница, потянулась дорога к лесным массивам Каракольского ущелья. Уже к 1 июля 1869 года улицы, площадь и гостинный двор будущего города были разбиты на местности, положены нижние вен-

цы оборонительных казарм. На этом Каульбарс счел свою миссию выполненной, и его отряд ушел в длительную рекогносцировку по неизвестным еще районам внутреннего Тянь-Шаня, что барон проделал с той же обстоятельностью и истым служебным рвением...

У архивов хорошая память. И они хранят не только лестные для авторов воспоминания, но и такие вот реляции, что была послана в декабре 1905 года командующим войсками Одесского военного округа Каульбарсом военному министру Редигеру: «При усмирении мятежа в Горловке войсками убито около 300 мятежников... Бой длился 6 часов. По получении подробностей предполагаю ходатайствовать о награждении отличившихся...» Он был очень исполнительным человеком, этот генерал от кавалерии, фамилии которого никогда не будет на уличных указателях. Даже в том городе, который этот человек когда-то закладывал. Конечно, во все времена верность присяге была и остается делом солдатской чести. Но верно и то, что во все времена убийцы в мундирах оправдывали себя именно тем, что, дескать, только подчинялись приказу, только выполняли служебный долг. Но их оправдания ничего не значат. Ибо на земле всегда находились люди, доказавшие своей жизнью диаметрально противоположное: человек при любых обстоятельствах может сберечь в себе человека, если только у него хватит мужства не постоять за ценой.

* * *

Улица Королькова... Он умер в 1933 году, в том же году столичные журналисты Глеб Алексеев и Викторин Попов издали книжку очерков — «Иссык-Куль». Описывая свою встречу с «живой легендой Каракола», они сравнивают его с «одряхлевшей летучей мышью», старательно иронизируя над старческой немощью девя-

постолетнего человека. Они словно задались целью представить его в наименее привлекательном свете. Наверное, их очень смущало то обстоятельство, что заведующий пржевальской метеостанцией, совсем недавно был «вашим превосходительством».

Он действительно имел чин генерал-майора царской армии и, по рассказам старожилов, чуть ли не до 1927 года носил мундир с генеральскими погонами. Вот только «тенью» он никогда и ничьей не был, всегда оставаясь именно Корольковым, человеком самобытным, незаурядным.

Семи лет остался сиротой. Кончил кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище, двадцати восьми лет женился на Варваре Алексеевне Грибоедовой, внучатой племяннице автора «Горе от ума», принимал участие в освобождении Болгарии от турецкого ига, а после завершения русско-турецкой кампании, в 1880 году по своему желанию получил перевод в Каракол. Здесь он принял командование горной батареей и увлекся делами, весьма и весьма далекими от гарнизонной службы, от той жизни, которая здесь его окружала. Какая она была, эта жизнь? Ведь по выражению Каульбарса, основателя Пржевальска, город был призван «внести светоч Русской культуры в дебри Тянь-Шаня»?

— Освещение города более чем скудное, хотя городское управление и сделало попытку к его улучшению и приобрело керосинно-калильные фонари — можно прочесть в отчете городской управы тех лет,— но задолго до полного оборудования освещения фонарные веревки со столбов были украдены...

Так обстояло дело со «светочами».

— Обывателям рекомендуется при возведении построек,—читаем мы в том же отчете,—снабжать окна деревянными ставнями, которые и закрывать с наступлением темноты, исключительно в целях избежать

битья стекол и других разнообразных проделок развлекающегося юношества...

Так обстояло дело с «культурой». На всякий «пожарный» случай была в Караколе и пожарная команда, вернее — обоз, «состоящий из двух пожарных насосов, одной телеги и одной лошади для возки этого обоза, при одном рабочем. Насосы настолько испорчены, что к действию не пригодны. Так как за отсутствием пожаров они в работе не были, то причина указанной неисправности должна быть отнесена исключительно лишь к небрежному и неумелому их хранению»...

По одной-единственной косточке восстанавливают подчас палеонтологи облик вымершего звероящера. Одной-единственной цитаты хватило бы человеку даже с весьма скромным воображением, чтобы составить представление о той обстановке, в которой оказался Корольков. Ссылка — ладно, это понятно. Но просить сюда перевода? Ради чего?

Организовал метеостанцию. Установил связь с Петербургским ботаническим садом. Изучал климат, ледники, собирал гербарий, семена тянь-шанской ели, издавал научные отчеты, печатал статьи, помогал в подготовке центральноазиатских экспедиций Пржевальского, Певцова, Роборовского. Это ему, в то время начальнику каракольского гарнизона, умирающий Пржевальский говорил о своей последней воле — быть похороненным на приглянувшемся иссыккульском берегу...

Он много ездит за пределами России, а подав в отставку, возвращается не куда-нибудь, а именно в Пржевальск, к горам, к метеостанции. Метеостанция эта существует и сейчас. Но теперь метеостанция первого разряда «Пржевальск» охватила своими постами все восточное Прииссккулье, десятки специалистов продолжают сейчас то, что в одиночку начинал когда-то генерал Корольков.

В доме Магдалины Николаевны Любимовой Лидия Хрисантовна свой человек. Внучке немного удалось сберечь на память о своем деде, но каждая эта реликвия может рассказать о многом. Вот диплом № 341, удостоверяющий избрание Королькова 19 апреля 1889 года действительным членом русского географического общества. Вот принадлежавшая Ярославу Ивановичу гомеровская Илиада, изданная в 1839 году в Санкт-Петербурге в переводе Н. Гнедича. Вот толстенная, в темно-коричневом переплете общая тетрадь, наполовину исписанная аккуратным почерком Ярослава Ивановича, наполовину чистая, словно он оставил место для внуков, правнуков — дескать, кто-нибудь да допишет. Действительно, общая тетрадь! То бесконечная опись личной библиотеки, с блистательной чередой таких имен, как Достоевский, Писарев, Вересаев, Некрасов, Андреев, Писемский, Горький, Байрон, Киплинг, Сервантес, Лонгфелло, то наспех набросанный план русских позиций на Шипке, с подробным описанием боевых операций, может быть, тех самых, за которые Корольков был награжден именным оружием. И тут же — «Из показаний судебному следователю 2 октября 1916 года». Вот что Лидия Хрисантовна унесла бы к себе в архив, но поскольку Магдалина Николаевна никак не решится на эту жертву — несколько вечеров просидела за перепиской, чувствуя себя глубоко обязанной перед смелостью и благородством человека, оставившего людям эти строки.

Нетрудно представить ту атмосферу, в которой давал показания отставной генерал. Только что прокатились стихийные выступления киргизских повстанцев, поднявшихся на борьбу против угнетения, но еще не видя перед собой ни пути, ни цели, не научившись различать подлинного врага, его классовой, социальной сути. Перед слепой яростью восставших были все равны — и полицейский, и солдат, и застигнутый в

поле землепашец, и преподаватели сельскохозяйственной школы, их жены и даже дети. И точно так же штык и пуля карательных отрядов не знали разбора в киргизских кочевьях, а офицеры местного гарнизона пробовали личное оружие на пленниках, задержанных даже неизвестно за что. И потому горы были полны ненависти ко всему русскому. А Пржевальск был захлестнут оголтелым шовинизмом перепуганного и оттого еще более злобствующего русского обывателя. А Корольков встал и сказал то, что думал, нисколько не заботясь о том, как воспримут его слова.

Очевидно, судебный следователь пытался выявить зачинщиков беспорядков. Что ж, Корольков попробует ему помочь. В разное время он совершенно безоружным проделал по Тянь-Шаню свыше четырнадцати тысяч верст в научных рекогносцировках и потому смеет утверждать, что отношения между русскими и киргизами были хорошие, хотя «неустойчивость политики нашей по вопросу землепользования и даже неудачная постановка самого вопроса этого... приводила нередко к кровавым расправам, в которых страдательной стороной были киргизы». Корольков описывает, как постепенно превращался в хозяйчика, в кулака самый «завалящий мужичонка-переселенец», как год от году разрастался его аппетит, тем более, что киргизы... «не очень гнались за землей... Они охотно отдавали свои земли в аренду всем просившим ее у них... Мало того, они не противились захватам части их земель...» Появляется в рассказе Ярослава Ивановича зловещая фигура одного из начальников Семиреченского переселенческого района, судившего о деловых способностях своих подчиненных по тому, сколько земли запроектировал тот или иной чиновник изъять у киргизского населения. «А так как,— продолжал свое повествование Корольков,— по признанию самих власть имущих, в переселенческом ведомстве рядовые

работники — лица, не обладающие в нужной степени ни умом, ни развитием, ни образованием, то, естественно, что такие работники, приложив все старания, чтобы угодить начальнику, не считались с чувством меры. И это нужно сказать не только о низших чиновниках».

Убийственная характеристика! Не всякий даже честный человек мог решиться на столь рискованное откровение в той обстановке истерии и вражды. Но и идеалистическая! Как будто бы все изменилось, если б чиновники были умны и образованы! Он противоречил сам себе, и не мог не противоречить, не касаясь главного — самой сути царизма. А касаться сути царизма, а значит, так или иначе выступать против него — даже мысль о возможности подобного шага не приходила в голову этому безусловно честнейшему человеку. Зато, опять-таки, узнав о предложении высокопоставленного лица добиться «умиротворения» путем выселения из Прииссыккулья киргизов, Корольков тотчас же садится за гневное письмо, доказывая, что подобная акция приведет лишь к полному разорению края, не говоря, уж о страданиях ни в чем не повинных людей. Он возмущается авантюризмом киргизских манапов. Поражается наивности, неосведомленности киргизских масс, поднявшихся против самодержавия без малейшего шанса на какой-либо успех. И сам поражает, может быть, даже большей наивностью, предлагая добиться умиротворения, разослав по уезду полномочных, авторитетных чиновников, которые бы провели разъяснительные, успокоительные беседы! Все знать, все верно оценивать и не видеть единственно возможного для России исхода — революции! Всего лишь за год до того, как революция свершится!

Впрочем, что же... беседовать о революции с судебным следователем?..

* * *

Архивы тех лет, которыми особенно интересуется Лидия Хрисантовна, в Пржевальске не сохранились. В разное время город подчинялся то Верному, то Ташкенту, множество документов хранится в архивах Москвы и Ленинграда. Послав однажды заявку в Ленинград, Лидия Хрисантовна к великой радости получила 2000 фотокопий самых различных материалов. Были в этой посылке Указы Александра Второго, документы об увековечении памяти Пржевальского, были даже бумаги департамента Герольдии с полным описанием герба города Пржевальска. Вот удивительно, оказывается у Пржевальска был герб! Города по сути дела не было, а вот герб, пожалуйста, был. Что, интересно, изобразил бы на герольдическом щите художник, не приведись скончаться в этом никому не ведомом городке знаменитому землепроходцу?

— Об одном не забудьте,— просил, по воспоминаниям тех, кто оказался рядом с ним в последние минуты, Пржевальский,— похороните меня непременно на берегу Иссык-Куля, но чтобы не размыло водою. Надпись сделайте простую: «Путешественник Н. М. Пржевальский». Положите в гроб в моей экспедиционной одежде. Доктор, прошу не анатомировать меня...»

— Сообщаю географическому обществу беспредельно горестное известие 20 октября 9 часов утра Николай Михайлович Пржевальский скончался брюшным тифом простудился на охоте Пишпеке. Ждем разрешения похоронить тело на берегу Иссык-Куля согласно последней воле покойного. Место выбрано удобное 12 верстах Каракола,— телеграфировал в Санкт-Петербург убитый горем Роборовский, спутник Пржевальского по так трагически прервавшейся пятой экспедиции в Центральную Азию.

Не на коне — на орудийном лафете, не в Лхассу,

не к истокам Брамапутры — к обрывистому берегу Каракольского залива совершил путешественник свой последний переход. Появился над иссык-кульским крутояром черный крест, 7 марта 1889 года император «высочайше повелеть соизволил» переименовать Каракол в Пржевальск, а в 1894 году состоялось торжественное открытие памятника, сооруженного явно вопреки «последней воле покойного», но тем не менее составившего бы честь не только здешней глухомани, но и такому собранию выдающихся произведений мемориальной скульптуры, как, например, некрополи Александро-Невской лавры, или не менее известные «Литераторские мостки».

Кто не читал, каких трудов стоило доставить из Финляндии монолит для «Медного всадника». Скала каракольского монумента сложена из нескольких глыб, но ведь и они весили до полутора тысяч пудов! Нужного гранита поблизости не было, разыскали его в ущелье Ак-Су. Целый месяц переправляли первый камень нанятые инженером Борисоглебским крестьяне из окрестных сел, снарядив сколоченные из бревен дроги с упряжью из двадцати пяти пар быков! Горели деревянные оси. Проваливались каракольские мосты. Не легче было поднимать и отлитые в Петербурге бронзовые детали, ведь только орел весил шестьдесят с лишним пудов.

Теперь этот памятник, возведенный по проекту генерала Бильдерлинга,— первое, что стремятся увидеть гости Прииссыккулья. Скалу, увенчанную бронзовым орлом работы академика Шредера, ни с чем другим не спутаешь, ее-то и изобразил в центре геральдического щита автор будущего герба города Пржевальска. Справа от памятника, не мудрствуя лукаво, он поместил два улья, слева — сноп пшеницы. Понизу — пустил две дубовые ветки, а сверху — водрузил корону. 19 марта 1908 года в Царском селе этот герб был

удостоен «Высочайшего его императорского величества утверждения». Все было просто, понятно, не вызывало сомнений и толкование предназначения города в будущем. Ему и впредь предлагалось жить хлебопашеством, бортничестом, да процентами с памяти о генерал-майоре Пржевальском.

Конечно, можно понять художника, не удержавшегося от искушения изобразить известный на всю Россию монумент. Тем интересней кажется другой, первоначальный проект герба, отвергнутый властями, погребенный в анналах департамента Герольдии и вот оказавшийся на рабочем столе пржевальского архивариуса.

— В черном щите,— гласит сопроводительный текст,— серебряный глобус с золотыми меридианами и подставкой, сопровождаемой сверху золотою о пяти лучах звездою; в золотой оконечности щита два накрест положенные червленые колоса, обремененные в точке пересечения натуральною пчелою. В вольной части герб Семиреченской области. Щит увенчан серебряною о трех зубцах башенною короною и окружен двумя золотыми колосьями...

Чем больше смотришь на этот, не удостоенный «высочайшего утверждения» проект городского герба, тем явственней отзываются подробности его рисунка на все то, что довелось увидеть и узнать в Пржевальске. Нет нужды говорить о каким-то чудом попавшей на геральдический щит пятиконечной звезде. Это — игра случая, но вот два скрещенных колоса... И вспоминается золотой разлив самых щедрых в Киргизии хлебов, высокие вороха бронзового зерна, урожаи в 35—45 центнеров с гектара, которых добиваются от Безостой-1 специалисты расположенной в окрестностях Пржевальска опытной селекционной станции.

Корона, венчающая согласно духу того времени и этот вариант герба, если внимательно приглядеть-

ся,— вовсе не корона. Это кирпичная кладка какой-то символической новостройки, с глубокими проемами будущих окон, с зубчатыми башнями возводимых стен. На развитии Пржевальска всегда сказывалась его отдаленность, сказывается и сейчас. Однако он тоже растет, и эта башенная корона живо напоминает и корпуса новой школы, возведенной по самому последнему столичному проекту, и целые кварталы жилых многоэтажных домов, и то строительство, что энергично разворачивается в Прииссыккулье в связи с превращением долины в новую здравницу страны. Со временем курортное Прииссыккулье будет принимать полтора миллиона отдыхающих в год. А поскольку центром этой зоны является Пржевальск — десятки, сотни тысяч человек сочтут для себя необходимым побывать в городе у подножья Терскея, хоть на день воспользоваться его гостеприимством.

Эту начатую нами игру в разгадывание пржевальского герба может несколько затруднить лишь эмблема Семиречья, врезанная прямоугольным значком в левый угол щита. Однако подковка ее азиатского полумесяца и семь распустившихся головок каких-то крупных цветов легко читаются как своеобразная визитная карточка зональной станции ВИЛАРа, чьи владения расположены сразу же за городом, на его восточной, обращенной к Теплоключенке стороне.

ВИЛАР — Всесоюзный Институт Лекарственных и Ароматических Растений. Годы можно бродить по горам Прииссыккулья, но не встретить и не узнать десятой доли того, что за каких-нибудь полчаса увидишь и услышишь на уставленных табличками делянках. Но, побывав здесь, хотя бы на плантации географических посевов, неизмеримо больше увидишь и в горах, ибо то, что прежде сливалось в безликую зеленую массу, обретет для тебя и свое лицо и свое имя.

— Здравствуй, Арктиум лапа,— скажешь теперь

при встрече давнему знакомому, простодушно перегородившему тропу своими громадными листьями. Подумать только, всю жизнь называть лопухом того, кто имеет столь благозвучное, полное тайного смысла ученое имя — Арктиум лапа!

Можно, конечно, не знать, что вот этот ревень называется тангутским, что эти мелкие белые соцветья принадлежат валериане, ничего о них не зная, можно без всякого для себя риска нарвать целые снопы синего шалфея, голубых васильков, желтоватых метелок резеды душистой, белых шаров мордовника, прячущих в пуху свои острые колючки. Но вот настойчиво просится в руки высокий стебель с дробным, рассеченным, как арчовая хвоя листом, с синими, фиолетовыми цветами, напоминающими немного «львиный зев». Осторожно. Это аконит каракольский, или как его еще называют,— «иссыккульский корень». Можно жестоко отравиться, просто подержав его стебли в потной руке, просто поставив в изголовье собранный на лесистом склоне букет.

А вот его кровный братец — аконит джунгарский. У него широкий, пятипалый лист, гроздья его фиолетовых цветов напоминают колокольчики. Но ядовит он ничуть не меньше своего каракольского сородича, отсюда и проявляемый к ним интерес. Ведь если человеку удалось обратить в ценнейшее лекарство даже яд кобры, то почему бы не попробовать проделать это и с аконитом? Да и не только с аконитом. На участке географических посевов насчитывается сто пятьдесят местных лекарственных растений!

Каждое лето на многие недели уходят в горы научные сотрудники станции, собирая дикорастущие травы. Добыча полевых отрядов попадает в отдел биохимии, растениям дается первичная химическая оценка, определяется содержание алколоидов и других групп биологически активных соединений, начинается долгая

работа по введению лекарственного растения в культуру. Но даже успех не приносит решения всех задач, даже возделывание давным-давно одомашненных культурных растений, о которых, казалось бы, человеку известно все и вся, подчас представляется для специалиста гордиевым узлом противоречий и проблем...

А игра зовет дальше, мы оказываемся совсем в другой части города, мы долго идем березовой аллеей, в роще свежо и почти сумрачно, так разрослись деревья, так густо они стоят.

— Хорошо у вас здесь, как в лесу.

— Да, для наших мальчишек,— отвечает Наталья Андреевна,— а нам этот лес иногда мешает. В сильный ветер деревья раскачиваются и колеблют почву. Возникают помехи.

Не часто услышишь такое... Но что деревья! Однажды в павильон забралась лягушка. Самая обыкновенная лягушка. Она прыгала по цементному полу глубокого подвала, посреди которого высились две мощные бетонные тумбы, уходящие в грунт еще на четыре метра. А на этих тумбах покоятся сейсмографы... Всю ночь бодрствовала сейсмическая станция «Пржевальск», всю ночь трещали сигнальные звонки АУЗов, а на сейсмограммах красовались пики немыслимых амплитуд.

— Мы обнаружили ее только под утро. И изничтожили!

Наталья Андреевна сокрушенно машет рукой, смеется. Потом извиняется за нескладный рассказ, за беспорядок на веранде, в комнатах, куда она просто не рискует впустить гостей. Сегодня она и ее муж — Василий Яковлевич Жбрыкунов — «не в форме». Между двенадцатью и часом ночи их поднял на ноги оглушительный трезвон всей системы сигнализации. Сильное землетрясение с амплитудами до семи баллов. Только успели обработать данные и передать в

Москву — ударил второй толчок, через час — третий! В эту ночь, чего никто кроме четы Жбрыкуновых не заметил, в Пржевальске почва сместилась на 380 микрон. Но это в 1600 километрах от эпицентра, что же делалось там, в Пакистане?

По точности и оперативности наблюдений они значатся в первой семерке среди станций единой сейсмической службы страны. Наверное, иначе нельзя. Их станция опорная, она — на самом рубеже, она у самого подножья грандиозных хребтов Азии, с их сложной тектоникой и высокой сейсмической активностью...

Они почти никуда не ходят. Отпуск? Это проблема, над разрешением которой они ломают головы вот уже два десятка лет. Болезни? С ними и вовсе непонятно что делать. Теперь вот заболел сынишка, врачи требуют сменить место жительства, ее, коренную москвичку, зовут назад, в Институт физики Земли АН СССР, но что она будет делать в этом институте, если необходимый для научной работы материал — здесь?

Иногда, раз в полгода выбираются в гости. И всякий раз следом прибегает оставшаяся дома и перепуганная звонками бабушка:

— Идите скорей, там уже трясет!

Это не всегда плохо, они, например, были довольны поведением Тянь-Шаня, который на протяжении ряда лет давал множество мелких толчков, снимавших, разряжавших чрезмерные напряжения, скапливающиеся в глубинах Земли. И у них есть все основания с недоверием относиться к тем сейсмически активным зонам, которые долго «молчат», словно стараясь усыпить бдительность человека, а потом вдруг взрываются, как это случилось под Ташкентом в ночь на 26 апреля 1966 года.

О том, что они первые известили Москву о начале ташкентской эпопеи, Наталья Андреевна узнала уже потом. Очаг землетрясения был так близок к поверх-

ности, под «самой корочкой», что его не зарегистрировали ни станция «Москва», ни «Фрунзе», ни «Алма-Ата», а сам Ташкент молчал — прервалась связь. Наталью Андреевну разбудили, как обычно, пронзительные звонки сигнализации, и когда она подбежала к пультам управления,— на экране «АУЗов» (автоматическое управление записью) тревожно светилась надпись: «Происходит сильное землетрясение». Считанные минуты отводятся сейсмологу для первичной обработки данных и передачи их в любое время дня и ночи в сейсмический центр.

— Пржевальск?— удивились в Москве,— что это никого не трясет, а Пржевальск затрясло?

А утром страна узнала о Ташкенте.

Так они и живут. Странной, какой-то двойной жизнью. Пока острый лучик света самописцев рисует однообразную зубчатую линию сейсмического фона — они заняты самыми обыденными, самыми житейскими делами.

Но стоит мелким зубчикам фона смениться размашистыми пиками катастрофических амплитуд,— как эти люди сразу же перестают принадлежать самим себе, своему городу. В эти минуты они живут по Гринвичу. В эти минуты в их тихий деревянный дом врывается тревога, врываются отголоски геологических катастроф, происходящих в самых отдаленных уголках земного шара. Они слушают Перу, Аляску и Африку. Домоседы поневоле, они держат руку на пульсе всей планеты, первыми принимая сигналы бедствий от рушащихся городов и деревень, где бы те ни находились. В такие минуты Земля становится маленькой, а люди большими. И если на помощь пострадавшим вовремя придут десятки транспортных самолетов, если человек со временем научится не только очень точно фиксировать вспышки подземных стихий, но и предсказывать их, значит, не зря несут свою вахту таин-

ственные домоседы, имеющие дело со всем земным шаром и глобус у которых — просто-напросто рабочий инструмент. Да, именно так, без глобуса они не обходятся. И, значит, у нас есть вполне законный повод вновь вспомнить о том, не получившем «высочайшего утверждения» проекте герба, заглавное, самое почетное место которого занял серебряный, с золотыми меридианами глобус.

Глобус... С какой точностью угадал отвергнутый художник единственно возможную здесь фигуру! С детских лет, с первого урока географии живет в каждом из нас этот символический пароль дальних странствий и кругосветных плаваний. Пржевальск — город путешественников. И сегодня — тем более. Четыре часа езды — и экспедиционные машины, оставив позади серпантины перевала Чон-Ашу, оказываются над непроходимыми кручами Сары-Джаса. Час лету — и «Ми-4», поднявшись с Пржевальского аэродрома, садится на легендарный Иныльчек, у самого подножья шеститысячного шатра пика Максима Горького. Рядом — Хан-Тенгри. Ледовая громада «полюса недоступности» Тянь-Шаня — пик Победы...

А ведь можно уходить в странствия, ни разу не покинув городка, в котором довелось родиться. Можно открывать вершины, не поднимаясь выше второго этажа небольшого зданьица архива, в котором прошла добрая половина жизни. В этом зданьице можно пережить десятки жизней, исходить неисчислимое множество дорог. Но и в таком случае, тем более в таком случае, путнику не обойтись без глобуса, хотя бы в воображении. Ибо нет под руками ничего другого, так наглядно убеждавшего бы нас в том, что мир велик, что мир тесен, что судьбы людей переплетены как корни стоящих бок о бок деревьев и что каждый человек на виду.

ДУЭЛЬ

Дорога знакомая. Снова в Пржевальск. Отмелькали за автобусным окном то сизые и черные, то малиновые и белые кручи Боомского ущелья, пологими волнами пошла стелиться серая полынная пустыня, за которой вставало озеро. Скользнула по правую руку едва заметная лощина, поросшая насквозь пропыленным чием. Кутемалды? Да, это и есть Кутемалды. Оборачиваюсь, как будто и в самом деле можно увидеть, разглядеть то, что сохранило бы на себе хоть малый отблеск той давней истории, неожиданным образом связанной с этим местом. Экспресс на Пржевальск настырно таранил стеклянную даль осени, и Рыбачье, этот невзрачный портовый городок, все более превращался в игрушечную россыпь кубиков, припавшую к синему лукоморью сходящего на нет озера. Брызнул на вираже щебень из-под колес, автобус качнуло, все унеслось, скрылось за косогором, словно там ничего и не было.

— Дуэль?

...Вернувшись в Верный, он тотчас усаживается за письмо в Омск, начальнику штаба корпуса Гинтову,

стараясь скрыть подлинные чувства за округлой витиеватостью тщательно обдуманных фраз. Он считает себя счастливым докладывать генерал-майору большей частью о благоприятных обстоятельствах рекогносцировки. Он надеется, что Его превосходительство все упущения в деле отнесет к его, Венюкова, «неискусству и нераспорядительности, а не к недостатку усердия, которым были проникнуты все чины отряда», в связи с чем он и ходатайствует о выдаче солдатам денежного вознаграждения. Своим мельчайшим, убористым бисером он скупо описывает тяготы, с которыми отряд встретился при переходе через неведомые горы, населенные воинственными племенами. Отряд шел с пушками, с земляными работами в пути и на ночлеге, при скудном питании, по бездорожью, сквозь жару каменистых пустынь и холод заснеженных перевалов. Рубахи на солдатских плечах истлели. Обувь на израненных о камни ногах разбилась. Легко сказать, от Верного через Кастек и прочие перевалы до самого Иссык-Куля, до мифической речки Кутемалды, где до того удалось побывать единственно Петру Петровичу Семенову. И что же? «Не получая заработанных денег, не имея даже права по возвращении из похода потрудиться на себя более, чем неделю, люди, бывшие в отряде, представляют в настоящее время зрелище, достойное сострадания».

Он так и не удержался в рамках официального рапорта, как месяц-другой спустя, в своем «Обозрении реки Чу и соседних среднеазиатских земель» легко давал себя увлечь простому дорожному наблюдению, подчас не имевшему, казалось бы, видимого отношения к предмету разговора. Солдата укусила фаланга. При спуске к Чу у мыса Кеклик-Сенгир этих мерзких тварей было встречено превеликое множество. По тогдашним поверьям, укус фаланги — чуть ли не верная смерть. А у солдата хватило духу надеть мундир, шап-

ку, привести себя в порядок и только тогда явиться к доктору!

Но главное, конечно, география. И какая! «География верховьев Чу и страны, лежащей на юг от них, до Кашмира, Кабула и Гиндукуша, принадлежит к числу самых темных отделов землеведения Азии», — не без восхищения восклицает Венюков. Конечно благодаря известным путешествиям Семенова ошибочность имевшихся представлений о вулканизме Тянь-Шаня, об истоках реки Чу в Иссык-Куле уже не вызывала сомнений, да и на многие другие вопросы Семенов дал блестящий и точный ответ. Однако голод на сведения, касающиеся «Небесных гор», был настолько велик, что даже повторение маршрута Семенова к западной оконечности Иссык-Куля давало возможность открывать и открывать край как бы заново, что Венюков и делает со всем жаром молодости и преданности науке. Он приводит перечень киргизских родов, оценивает их взаимоотношения и политическую обстановку в целом, подробно рассказывает об особенностях здешнего скотоводства и хлебопашества, охоты и рукоделия. Он описывает языческие обряды, поверья и предрассудки, он замечает, что «хотя устройство народа демократическое, его старейшины пользуются все-таки большой властью, частью неограниченной».

Его интересует все. В степи у кокандской крепостицы Токмак стоит высокая башня, которой местные жители поклоняются. В пойме реки Чу водятся тигры, шкуру молодого тигра Венюков привозит себе в Омск. Перечисляет реки, стекающие с хребта Киргизын-Алатау. Описывает маршрут отряда через Большой Кемин и перевал Тору-Айгыр к Иссык-Кулю, туда, где Чу подходит к озеру на расстояние всего лишь нескольких верст. Оказывается, Чу берет начало в горном узле Сусамыр-Тау, который соединяет хребет Киргизын-

Алатау с Небесным хребтом. Река Чу носит там название Кошкар и образуется из трех черных ручьев—Каракола, Суека и Кызыл-Арта. Вернее, ручьи, сливаясь, образуют тростниковое болото Сарала-Саз, а уж Сарала-Саз и питает Кошкар. В местности Кутемалды долина Кошкар расширяется и здесь — поразительная вещь — река связана с озером каналом, когда-то прорытом то ли для судоходства (?), то ли для орошения, хотя теперь «никакого движения воды в этом канале почти незаметно». Эта искусственная речка, длиной до пяти верст, и есть та самая Кутемалды по которой, как тогда считалось в географических кругах, Иссык-Куль имеет сток в долину. Считалось даже Гумбольдтом, доверившимся рассказам бухарских и ташкентских купцов. «Во всю мою жизнь,— сетовал великий географ,— я ни о чем столько не жалел, как о том, что мне не удалось самому проникнуть в эти знаменитые страны». ... И Венюков чувствует себя внезапно разбогатевшим баловнем судьбы, которому даже неловко перед своим менее удачливым собратом. «Такова судьба человека,— сочувственно размышляет он над превратностями бытия,— доходить до конца своей жизни и сравнивать не без прискорбия то немногое, что удалось сделать для науки, со всем тем, что хотелось для нее совершить».

Нет, ему самым определенным образом повезло. Вообще повезло! С самого начала! Успешно окончил Академию Генерального штаба — получил направление в штаб генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского. Только прибыл — вместе с Муравьевым отправляется на Амур, что само по себе совсем недавно казалось несбыточной мечтой. Вернулся с Амура — назначается руководителем экспедиции на Уссури и несколько вечеров просиживает с адмиралом Невельским, который щедро делится всем тем, что знал об этом малоизученном районе. Затем первым из русс-

ких Венюков прошел вдоль всего течения Уссури. Первым из русских перевалил через Сихоте-Алинь к Японскому морю, дав подробное описание Зауссурийского края. И вот с берегов Уссури и Японского моря — на берега Чу и Иссык-Куля, в страну, «соседнюю древнему Имаусу, на котором останавливались географические познания греков и римлян». И это на двадцать седьмом году жизни!

Хотя что значит повезло? Для сотен и тысяч офицеров русской армии служба на отдаленных границах — ссылка, не более. После Туркестана Венюков три года командует пехотным батальоном на Северо-Западном Кавказе, это ли удача? А он составляет этнографическую карту, занимается историей, статистикой края, пишет несколько обстоятельных работ. За какие-то семь лет, начиная с 1857 года он посещает большую часть окраинных владений России, от Балтики до Кавказа, от Небесных гор до Тихого океана. «И хотя беспрерывные разъезды, походы, боевая и бивачная жизнь мало способствовали систематическому собиранию и разработке данных об этих странах, тем не менее я был настолько счастлив, что об некоторых из них успел собрать сведения, частию вполне неизвестные прежде...» И не только собрать, но и издать фундаментальный, в пятьсот с лишним страниц труд под названием «Путешествия по окраинам Русской Азии и записки о них». Эта книга, как и последовавший затем «Опыт обозрения русских границ в Азии», выдвинули его, автора двухсот сорока печатных работ, не считая буквально бесчисленных газетных и журнальных заметок, в число виднейших географов России. И если все же его имя не имеет такой широкой известности, как, скажем, имя Семенова-Тян-Шанского, то на этот счет были свои причины, не составлявшие, впрочем, тайны и при жизни Михаила Ивановича.

Особый характер путешествию к Небесным горам

придавало то обстоятельство, что «европейская любознательность» все еще переживала смерть казненного в Кашгаре Адольфа Шлагинтвейна, пытавшегося проникнуть в Тянь-Шань со стороны Восточного Туркестана. Неудачей кончилась и попытка Северцова, намеревавшегося достичь «терра инкогнита» с западной стороны и попавшего в плен к кокандцам. И хотя научные рекогносцировки Семенова, Валиханова, Голубева были во многом успешными, опасность нападений сковывала и их действия, вынуждая обременять себя громоздким военным конвоем.

«Я тоже был благоприятно обставлен в моем странствовании к верховьям Чу»,— пишет Венюков в своем отчете. 26 мая 1859 года отряд вышел на перевал Кастек, и взгляду путешественника открылся снеговой хребет Киргизнын-Алатау. Далее, к востоку, вставали исполинские вершины сопредельных с Иссык-Кулем хребтов, а «внизу, под ногами зрителя лежит долина Чу и вьется пенящаяся полоска самой реки, одетая зеленью камышей. Крепостица Токмак на южном краю этих камышей кажется небольшим домиком или хутором в междугорной степи». Венюкова поражает безжизненность открывшихся пространств, населенных разве что фалангами, ему представляется, что столь критическая сухость климата лишает Среднюю Азию пути «к такому же историческому развитию, как Европа», он полагает, описывая жизнь киргизских кочевий, что «средств для перехода к лучшему состоянию почти нет», и его трудно упрекнуть в близорукости, если вспомнить, что в ту пору даже «цивилизованная» Россия была всего лишь крепостнической страной. «Эти племена,— находит в себе Венюков и такие слова,— готовы исчезнуть с лица земли от господства более сильных народов, или возродиться к лучшей жизни под влиянием образованности, в обоих случаях мы не можем отказать им в нашем соучастии».

Он говорит «в нашем», имея, очевидно, в виду нечто обобщенное и единое — русскую культуру, русских вообще. Но есть ли они, просто «русские»? Двое русских, родившихся в одном и том же 1832 году, прошедших очень сходную и нелегкую жизненную школу, оканчивают одну и ту же Академию Генерального штаба и попадают в одно и то же время в Среднюю Азию, где наблюдают одни и те же картины, чтобы затем попытаться воспроизвести их в географическом отчете. И вот один видит не только экзотичность легенды о «Кырк кыз» — сорока девушках, имевших, если верить сказителям, определенное отношение к происхождению киргизского народа, но и нищету бедноты, видит манапов, что для него «буквально значит тиран, в смысле, близком к древнегреческому», он заключает, что Правда и здесь, несмотря на кажущуюся простоту, чуть ли не родственный характер общественного устройства, «везде благосклонна к сильному, и даже тот правитель считается человеком ничтожным, который употребляет мягкие меры».

Другой в довольно-таки снисходительном тоне описывает жизнь воистину библейскую, такою праздной она кажется, жизнь, при которой кочевник «ни о чем не заботится, ездит на баранту, в гости, чтобы расспросить или передать какую-то новость, да лежит себе в юрте». Социальная несправедливость? Бесправие? Именуемые барантой грабежи? «Баранта необходима для киргиза,— ничтоже сумняшеся разъясняет представитель «просвещенного мира»,— она поддерживает его деятельность и дает пищу нескончаемым спорам, имеющим особую занимательность в однообразной жизни киргиза». Кстати, барантой занимаются не только погрязшие в междоусобице группировки родов. Оказывается, «истые казаки не уступят киргизам в ловкости и находчивости при барантах». И путешественник с симпатией описывает двух «истых казаков»,

которые ловко сбивают со следа погоню тем, что на ноги украденной в киргизском аиле коровенки натягивают свои сапоги.

Александр Федорович Голубев... Конечно, в его отчете, напечатанном год спустя в «Записках Императорского Русского Географического общества» содержатся не только подобные «сведения». Экспедиция, руководство которой по предложению Семенова-Тян-Шанского взял на себя Голубев, должна была определить координаты 16 астрономических пунктов Семиречья, что и было проделано, несмотря на всяческие неблагоприятные обстоятельства. Спокойно прошла разве что рекогносцировка к западному окончанию Иссык-Куля, поскольку здесь только что побывал отряд Венюкова, и воинственные сары-багиши, враждовавшие с русскими за их поддержку ненавистного им рода Бугу, откочевали в глубь Тянь-Шаня. В свою очередь, присутствие на востоке Иссык-Куля, возле Туба отряда Голубева помогло и Венюкову, и он при каждом удобном случае это подчеркивает. Он называет Голубева «моим благородным другом», он говорит, заканчивая отчет сожалением о кратковременности и неполноте исследований, что «труды г. г. Голубева и Семенова обещают в этом отношении много пользы».

К «Обозрению» Венюков приложил карту Небесных гор. Координаты двух точек, Кутемалды и Туба он получил у Голубева, к которому обратился по старой дружбе; еще бы, вместе учились! Голубев сам пишет их на клочке бумаги, а затем уже устно сообщает координаты Верного. Один экземпляр карты был отправлен корпусному командиру, другой — военному министру, третий,— по собственной инициативе,— географическому обществу. В ноябре того же 1859 года из «Санкт-Петербургских ведомостей» Голубев узнает о том, что Венюков избран членом Географического

общества, а прибыв в столицу, он знакомится с подготовленным к печати «Обозрением» Венюкова, где приводились и его, Голубева, данные.

Конечно, там было указано, что координаты исчислены Голубевым. Конечно, Голубев сам давал их Венюкову; злополучный клочок бумаги с наспех набросанными цифрами потом долго будет фигурировать во всякого рода письмах и объяснениях. И все-таки уязвленный успехом товарища, Голубев пишет докладную в Военно-Топографическое депо, из которой явствовало, что Венюков позорно присвоил его астрономические труды. Остальное довершила молва, неосторожно задетые Венюковым ведомственные чувства, в результате чего появился запрет не только на карту, но и на «Обозрение», а сам Венюков увольняется впоследствии в бессрочный отпуск.

Сначала, то есть первые месяцы столь неожиданного конфликта, Венюков пытается то встретиться с Голубевым, то письменно приносит свои извинения в том, «что без прямого согласия его сделал его труды известными». Голубев или избегает встреч, или отмалчивается, только через семь месяцев он неохотно дает публичное удостоверение в том, что действия Венюкова не были бесчестны. Но пересуды по-прежнему идут и по-прежнему не без участия «благородного друга». Отказано Венюкову и в возвращении в Генштаб, там явно настроены против него, и все его прошения не находят отклика. И тогда Венюков вызывает Голубева на дуэль. Так обернулась для него эта история с координатами двух киргизских урочищ, которых и на карте-то не сыщешь — Кутемалды и Тюп.

«Силы человеческие сочтены, Государь,— обращается к Александру II Венюков, в письме, написанном на случай смерти.— И если их доставало, чтобы свято исполнять долг присяги Вам на отдаленнейших пределах Вашей империи, то их нет для того, чтобы нести

страшный упрек в бесчестии, без возможности оправдания.

Вашему императорскому Величеству, без сомнения, будет известно печальное дело, вынудившее меня положить конец моим долгим страданиям. Быть может, Государь, за гробом я и достигну возвращения моего честного имени. Осмелюсь в таком случае умолять Ваше Величество оставить дело без последствий для лиц, приготовивших мне тяжелый конец, оставить все на их совести.

Но, Государь, этот свободный выбор смерти для того, чтобы избежать бесчестья, внушает мне еще большую смелость. Обстоятельства раскроют, насколько мог я надеяться достигнуть оправдания путем, который указывают действующие уже издавна в России законы. Дело покажет, что я не мог не отказаться от этой формы суда человеческого и должен был обратиться к суду Всевышнему. Государь! Здесь еще раз раскроется пред Вами, что без словесного открытого производства судебных исследований нет и не может быть истины. Торопитесь же, Ваше Величество, дать его Вашим подданым»...

Здесь он уже не думает о себе. Он не может не вспомнить о Сибири, которую увидел во время путешествий и где познакомился и близко сошелся с Петрашевским. «Россия немало потеряла в его замученном ссылкой, гонениями и лишениями лице,— однажды напишет Венюков в своих воспоминаниях. А разве он, Петрашевский, там один? Как просто, оказывается, пасть под железную пяту «действующих уже издавна в России законов!» Нет, это не было прозрением, он и раньше не обольщался российской действительностью. Просто раньше он не видел возможности сказать то, что думал. Теперь он увидел такую возможность.

«Я считаю себя счастливым,— продолжает Венюков

свое послание,— что, умирая, получаю хоть небольшое право высказать открыто вам то, о чем умоляет Вас вся Россия. Перенеситесь мыслью в далекий край, где страдают массы людей, подобно мне не нашедших в законе возможности оправдания: сколько жертв, сколько несчастных, чтоб заставить содрогнуться и самое жестокое сердце! Кто отдаст за них отчет Богу?»

Дуэль с Голубевым не состоялась. Дуэль Венюкова с Александровской Россией продолжалась многие и многие годы. Через несколько лет после описываемых событий ревнивый владелец координат Кутемалды и Тюпа уезжает в Сорренто лечиться от чахотки и там, на местном кладбище и остается. «Имя Голубева, так рано утраченного для русской науки, писалось тогда в официальных некрологах,— принадлежит к той блестящей плеяде наших ученых исследователей Дальнего Востока: Семенова, Костенко, Северцова, Остен-Сакена и др., которые известны всему образованному миру...» Имя Венюкова, действительного члена географических обществ Франции, Англии, Швейцарии и других стран, надо полагать, этому «образованному миру» известно не было. Во всяком случае, в «блестящих плеядах» он не значится. Да и как прикажете поступить с человеком, который, получив возможность путешествовать по Европе, позволяет себе не только направить в «Колокол» статью о русской политике в Азии, но и завести личное знакомство с Герценом, неоднократно встречаясь с ним, будучи в Женеве! «Под влиянием женевского «вольного воздуха»,— упоминал об этих встречах Венюков,— и отчасти бесед с Герценом пульс у меня так повысился, настроение мозга так поюнело, что я даже написал два стихотворения... Одно из стихотворений было — перевод Марсельезы, который по желанию Герцена я и напечатал в его типографии...»

Тем не менее научный авторитет Венюкова был на-

столько высок, что по возвращении из Европы Венюкову удается осуществить поездку в Японию, а затем выхлопотать за казенный счет двухгодичную командировку в Японию и Китай. Появившиеся затем «Очерки Японии», «Очерки современного Китая» и другие капитальные работы Венюкова еще более упрочили его положение в географической науке. Географическим обществом ему присуждается малая золотая медаль, он избирается секретарем этого общества. Да и военному ведомству было невыгодно терять такого специалиста по русско-азиатским окраинам, и его прикомандировывают к Генеральному штабу для ведения «ученых работ». Вопрос разграничения новых владений крупнейших государств все более становился острейшим вопросом международной жизни, а «специалисты» в самых высших сферах были таковы, что, к примеру, во время переговоров в Лондоне в 1873 году они к немалому своему удивлению узнают о том, что Оксус и Аму-Дарья есть одно и то же.

Путешествие в Японию и Китай было для Венюкова одним «из самых дорогих мечтаний». Но и ему он не может отдаться до конца, порадоваться ему. И не только из-за ограниченности в средствах. «Чем дальше я проникал за уральские горы, тем тяжелее становилось на душе. Крайняя бедность народа, его, можно сказать, обнищание в течение последнего времени, неимоверное самоуправство чиновников, совершенное отсутствие правосудия навели на меня тоску».

Не меньшую тоску наводит на Венюкова и обстановка, царящая в Генеральном штабе. Закончив порученный ему военный обзор русских окраин в Азии, он испытывает все большую неприязнь к себе со стороны генштабистов вследствие «откровенных суждений о состоянии Туркестанского края». Он понимает, что «при известных приемах и стремлениях так называемых руководящих сфер» ему нечего рассчитывать на

осуществление своих замыслов. И когда под видом длительной командировки его намереваются упрятать в Закаспийский край, Венюков, не дождавшись ответа на свое прошение об отставке, навсегда покидает Россию. Он живет то в Швейцарии, то во Франции, работает в Женевском, Парижском, Лондонском географических обществах, в Парижской Академии наук, самым деятельным образом участвуя в международных географических конгрессах, и как всегда много пишет.

Наконец-то он может писать, не чувствуя над своим плечом недреманное око царского цензора, отыскивающего крамолу! В бесцензурной печати Венюков издает четыре тома резко критических по духу «Исторических очерков России с 1855 по 1878 гг.», три автобиографических тома «Из воспоминаний».

И без устали путешествует. То в Испанию и Португалию, то в Англию, то в Алжир. Он видел Тунис и Марокко, Египет и Индокитай, Южную и Центральную Америку, Корсику, Мадагаскар и Цейлон, Антильские и Болеарские острова.

Изгой, вечный странник, сам, по своей воле решивший «оставаясь русским, не возвращаться в Россию, иначе, как на службу свободе», он видит единственную отраду, отдушину, глоток свежего воздуха во встречах с такими представителями русской эмиграции, как Мечников, Кропоткин, а более того — в переписке с Пржевальским, с которым был дружен в течение многих лет. Их многое сближало. Оба вышли из обедневших дворян, оба увидели в военной службе единственную для себя возможность вести географические исследования, оба пробились к высокому поприщу науки лишь благодаря своей одаренности и редкой трудоспособности, оба выросли на передовых идеях русской демократической мысли. Только Венюков был резче, решительнее, описывая в своих воспоминаниях наказание солдата шпицрутенами, он мог обра-

титься к царю-императору и с такими словами: «А ты, подлый коронованный зверь, божьей милостью «шпицрутен-кайзер», уверявший, что ты царствуешь для блага народа русского, для славы России!... Жаль, что это повели не тебя, или хотя не «честного» исполнителя твоих «святых» законов, позоривших Россию!..»

Пржевальский был сдержанней. Но и его прорывало: «Не один раз, сидя в затянутом мундире в салоне какого-нибудь вельможи, я вспоминал с сожалением о своей свободной жизни в пустыне с товарищами — офицерами и казаками.., там была свобода, здесь позолоченная неволя, здесь все по форме, все по мерке... Могу сказать только одно, что в обществе, подобном нашему, очень худо жить человеку с душой и сердцем...»

Венюков был старше Пржевальского на семь лет. В то время, как Пржевальский только готовил себя к стезе странствователя, Венюков уже показал себя вполне сложившимся исследователем с опытом экспедиций в труднодоступные районы, а за серию очерков о Туркестане, напечатанных в изданиях Русского Географического общества, был удостоен серебряной медали. И когда Пржевальский ушел в свое первое путешествие — в Уссуруйский край, он тем самым продолжил дело, начатое когда-то Венюковым, который в это время изучал Японию, Китай и другие сопредельные России азиатские страны, предваряя опять-таки будущие маршруты Пржевальского. Эта преемственность, общность научных интересов еще более сближали двух полковников Генерального штаба, дружеским отношениям которых чужда была завистливая ревность. И когда Венюкова лишили возможности осуществить то, что составляло цель его жизни, он только и сказал, имея в виду Пржевальского: «Я рад, что отнятые у меня в 1870—71 годах интриганами Генерального штаба деньги перешли к нему, а не к кому другому».

В том, что эти слова не просто вынужденный жест, легко может убедить любое свидетельство многолетней, трогательной переписки, которой не смогли воспрепятствовать ни кордоны, ни расстояния.

«Глубокоуважаемый Николай Михайлович,— писал Венюков в августе 1888 года, то есть, собственно, в последней весточке, которая могла захватить великого путешественника в живых,— ваше письмо застало меня с чемоданом в руках, укладывающимся на прогулку в Пиренеях. Итак, мы на днях будем приблизительно под одинаковыми широтами 42—43°. Нужно ли говорить, что умственно я буду все время смотреть прямо на восток и желать Вам всякого успеха в вашем благом начинании...» Он надеется переслать, как только сам ее получит, карту путешествия Юнгкус-байда в Индию через Мустаг («может быть, там найдется что-нибудь интересное и для Вас»), непременно известит, как принята в Париже новая его, Пржевальского, книга, обещает «завербовать какого-нибудь знакомого академика, чтобы он принял на себя доклад о вашей книге ученому синклиту».

И заключает: «Еще раз будьте благополучны и по-прежнему во всем удачны, несмотря на то, что англичане за Вами собираются иметь глаза и глаза. Душевно преданный Вам...»

«Глазами и глазами» был Венюков для Пржевальского в мире европейской географической науки, да и не только «глазами». Оторванному на многие месяцы экспедиционной жизни от культурных центров, Пржевальскому было крайне важно быть в курсе последних научных новостей, следить за новыми книгами и картами. И всеми этими новостями, книгами и картами Венюков его регулярно снабжал. По возможности, конечно. Иногда и не удавалось, как это было с изданной в Лондоне картой Гималаев и соседних земель с нанесенными на нее маршрутами английских агентов.

«Мне казалось, что эта карта могла быть очень нелишнею для Вас,— сообщал Венюков в одном из писем, кстати, весьма образно характеризующим условия их переписки. — Но как переслать ее? Через Пекин? Но Франция в войне с Китаем. Через Кяхту? Но неуверенность в доставке оттуда в Цайдам, а тем более к подножьям зап. Куэнь-Луня смущает меня. Вот я и решился спросить в Верном, не возьмется ли Семиреченское начальство доставить конверт на Ваше имя через Кашгар или Кульджу. И что же? Получил ответ, что эта де вещь немыслимая, что посланное этим путем возбудит дипломатическую переписку и в конце концов все же пойдет на Пекин...»

Судя по всему, в отношении к официальной России они понимали друг друга. «Кому принадлежит почин в этом деле, я еще не знаю достоверно,— делится Венюков своими соображениями в связи с присуждением Пржевальскому медали итальянского географического общества,—... Во всяком случае сомневаюсь, что идея вышла из Петербурга, тамошние мокрицы и без того полны такой зависти к вашей славе, что постоянно делают против Вас вылазки из своих щелей».

Сам же Венюков не жалеет ни сил, ни времени, пропагандируя, где только возможно, имя Пржевальского и результаты его экспедиций. Но не только потому, что лично был к нему расположен. Что бы там ни было, а интересы Родины и здесь выходят на первый план: «Свободно избрав себе службою России обязанность знакомить Европу с тем, что у нас в научном мире делается замечательного, я рад сказать на родине Марко Поло, что его главный продолжатель — мой соотечественник, из «Московии».

Наверно, такие информационные сообщения мог делать и кто-то еще. Венюков, этот крупнейший знаток Азиатского материка, не выполнил бы долга дружбы перед Пржевальским, если бы выступал только в ка-

честве корреспондента или преданного благожелателя. Он — советчик. Тонкий и осведомленный. «Я позволю себе думать,— пишет он Пржевальскому по поводу намечавшегося четвертого путешествия,— что лучше бы Вам вовсе отложить исполнение первой части Вашего проекта, ...тем более, что больших открытий тут сделать нельзя... Не берусь выдавать мой проект за лучший, а только еще раз повторяю, восточная половина Тибета от линии Лхасса-Кукунор, уже порядком известна, в общих чертах, ...северо-западный же Тибет есть настоящая, бесспорная «терра инкогнита...»

И Пржевальский идет маршрутом, предложенным Венюковым.

Последнее письмо Пржевальскому Венюков послал из Парижа 11 октября 1888 года. Сообщает, что получил отчет о четвертой экспедиции и благодарит за него. Обещает немедленно, как обычно, дать о нем сообщения в газеты и журналы. Передает совет какого-то французского фотографа использовать при съемках желтый светофильтр, что придает пейзажу особенную четкость. Письмо это было еще в пути, когда в захолустном Караколе, в гарнизонном лазарете, отдав на свой счет последние распоряжения, Пржевальский неожиданно поднялся на ноги, обвел палату долгим взглядом, словно старался ее запомнить, и тихо сказал: «Теперь я лягу». И умер.

В Москве, в рукописном отделе библиотеки имени Ленина, в обширном архиве Михаила Ивановича Венюкова хранится текст некролога Пржевальского, произнесенного Венюковым на заседании Парижского географического общества. Неожиданная смерть великого землепроходца на берегу неимоверно далекого Иссык-Куля, на пороге путешествия в еще более далекий и загадочный Тибет произвела на мир впечатление, может, еще более способствовавшее известности этого имени, чем могла бы способствовать, скажем, весть о

благополучном завершении еще одной экспедиции, пятой по счету. Сам же Венюков скончался в 1901 году в одной из парижских больниц, в нищете, в одиночестве и забвении, напрочь вычеркнутый, насколько это было возможно, из традиционных обойм имен русских географов и путешественников, появлявшихся на страницах книг и журналов. Эта упорная работа цензорской машины по искоренению самой памяти о нем была довольно успешной, более того, по инерции она сказывается и сейчас, даже в современных книгах не часто встретишь некогда опальное имя, теперь малоизвестное и полузабытое. Тем большее испытываешь ошеломление, когда среди поблекших страничек разных архивных документов взгляд вдруг обожжется о слова, которые будут жечь и впредь, и которым по этой причине никак не страшны ни время, ни забвение.

«Я вынужден,— писал, оставляя Россию, Венюков Александру Второму,— Вашему Величеству предложить затем определить форму моего исключения из списка военных чинов. Какова бы ни была эта форма, она не возбудит во мне ни злобы, ни негодования. Можно лишить меня внешних отличий, которых сущность мне всегда была совершенно ясна, можно вычеркнуть мое имя из списка русских граждан, но нет силы, которая бы могла исключить меня из числа преданных сынов Русской земли».

«ОБЕЩАЮ УСЕРДНО ДЕЙСТВОВАТЬ...»

— Уж как хорошо-то было, Александра Александровна! Какой праздник! И Павла Ивановича вспомнили, и Вас не забыли. Гляжу — машина подъезжает, ну, думаю, за Ливотовой. Да и как иначе, если Вы столько лет...

Соседка не уходит. Она снова и снова возвращается на середину комнаты, а я, в ожидании, когда она уйдет, все вспоминаю и никак не могу вспомнить, было ли что-либо похожее в моем дипломе, или нет? Да нет же, не было. Такие обещания дают разве что медики своей «клятвой Гиппократа». Все прочие заняты, очевидно, менее важными делами. Однако, когда в городском архиве я развернул диплом № 1185, выданный 28 апреля 1908 года Советом Юрьевского ветеринарного института Ливотову Павлу Ивановичу, то на обороте этой внушительных размеров гербовой, с тисненой печатью, с залихватскими писарскими изысками бумаги вдруг обнаружил немногословное, скромно набранное «Ветеринарное обещание». Формальность? Наверное, не формальность, если человек помнил о нем без малого шестьдесят лет. «Обещаю усердно действовать при помощи указанных наукой средств к усовершенствованию скотоводства в России...» Помнил,

ибо незадолго до кончины на тридцати страницах написал свое «Выполненное обещание» — не то исповедь, не то самоотчет, начав его именно этими словами, кстати сказать, менее всего выражающими суть прожитой жизни.

В самом деле, мало ли их было, дипломированных и интеллигентных, «усердно действовавших к усовершенствованию скотоводства в России» и старавшихся не замечать скотства самой жизни, позволяя себе как крайнюю форму протеста разве что иронические улыбки?

Теперь «Выполненное обещание» хранится в городском архиве, вместе с дипломом. Мне не все ясно в записках, а спросить Павла Ивановича — уже не спросишь. Я снова у него в доме, в той самой комнате, где он принимал меня несколько лет назад. Письменный стол чист, на нем — ни бумажки, сижу и жду, когда уйдет соседка, которой очень уж хочется узнать, что было потом, когда генерал прислал за Александрой Александровной свою «Волгу».

Ливотова машет рукой, дескать, чего там, даже перед людьми неловко. Прислал адьютанта, возили по городу, словно она архиерей какой... Да и устала. Грех обижать Николая Григорьевича, но она после торжественной части лучше б на концерт осталась, послушала бы, какие песни молодежь поет. Но что верно — то верно. Не забывает ее Николай Лященко, верен себе. Генерал армии, столько забот, а как праздник — обязательно весточку пришлет, поздравит. Как вблизи окажется — непременно заедет, навестит. Еще подумала, когда узнала о предстоящих торжествах по случаю столетия Пржевальска, приедет Николай Григорьевич или нет, выкроит время? Приехал, в президиуме поднялся — головы на две выше всех, такой здоровый. Он и мальчишкой ростом не был обижен, в классе все переростком казался. И вот — полвека как не было. Под-

нимается Николай Григорьевич в президиуме, на груди — звезда Героя, в руках — бронзовый танк под стеклом — дорогим землякам, городу на память, чтобы не тревожились, в случае чего. Не мал сувенир, а в ладонях Николая Григорьевича так просто затерялся. Даже не верится, что когда-то в Урюктах она его письму да арифметике учила. А ведь это было!

Мысленно перелистываю ливотовское «Выполненное обещание». Урюкты, Урюкты, что это — Урюкты? Ага, вот оно где, 1920 год. Пунктовый ветврач Каракола Павел Иванович Ливотов назначается ветврачом только лишь созданного Урюктинского государственного племенного рассадника верховой лошади. Приехал — увидел убогую обшарпанную конюшню, несколько палаток и юрт. Государственных лошадей семь. Да двадцать семь чистококровок передали из своей конюшни Пяновский и Петракова, заядлые любители скаковых лошадей. Началась конфискация скота у сельских богатеев, теперь кони поступали в Урюкты партия за партией. Пошли болезни, эпидемии, а аптечка почти пуста. Ливотов сбивался с ног, и тогда на помощь приходила Петракова. Она мерила четвероногим пациентам температуру, вела скорбные листы — так раньше называлась история болезни — толкла с Павлом Ивановичем горную сурепку, из которой он приспособился делать горчичники. Вокруг шла война, людям не хватало медикаментов, что уж про ветаптечки говорить? Чуть легче стало после того, как племрассадник перешел в ведение Реввоенсовета. Тогда пришел обоз, привезли кое-какие продукты, красноармейскую форму. Они сами строили жилье, потому что негде было жить. Сеяли пшеницу, потому что нечего было есть. Но этой пшеницы они не отведали. Рассаднику понадобился ветлазарет, а заплатить за его строительство было нечем. Заплатили своей пшеницей...

Александра Александровна сидит за письменным

столом, время от времени проводя по нему ладонью, словно смахивая невидимую пыль. Двухтумбовый, на точеных ножках, стол громаден, как взлетное поле. Таких теперь не делают. С такими давно свели счеты сначала лихие наскоки фельетонистов, бичевавших бюрократизм, потом — масштабы наших миниквартир в микрорайонах. Эти столы вымерли, как мамонты. Но за ними было прекрасно работать. Их, кстати, и делали не для того, чтобы «удобно было перевозить», а для того, чтобы, обложившись книгами и журналами, засиживаться заполночь, до рассвета, чувствуя под локтями незыблемую твердь этого воистину священного алтаря. Павел Иванович сам делал чертежи письменного стола. Как и того, обеденного, что занимает чуть ли не всю гостиную, и к которому вдобавок предусмотрены были специальные приставные доски — на тот случай, если гостей окажется больше, чем можно было предполагать. Они были великими хлебосолами, Ливотовы, так что зачастую за обеденным столом оказывались люди, совершенно им незнакомы, или знакомые знакомых, или только где-то краем уха слышавшие, что есть в Пржевальске некий Павел Иванович Ливотов, к которому в случае нужды можно обратиться за помощью. Это было подобно цепной реакции. И потому не было лета, чтобы в доме Ливотовых не гостили участники каких-то научных и прочих экспедиций на Тянь-Шань. Попав в Пржевальск, им вовсе не нужно было знать точный адрес. Они могли даже не называть фамилии.

— Скажите, где тут живет Павел Ивановивч? И их вели прямо к Ливотовым.

Умея принимать, Ливотовы и сами любили ходить в гости. Заковыка была каждый раз одна и та же. Стоило Павлу Ивановичу надеть выходной сюртук, стоило в сопровождении семьи показаться на крыльце, как откуда-то из-за угла, словно нарочно дождав-

шись именно этого момента, выбегал, выскакивал встрепанный своим несчастьем горожанин, а то и вовсе кто-то из дальнего села, куда нужно закладывать дрожки, и чуть ли не бухался в ноги.

— Павел Иванович, отец родной, с коровенкой беда. Что делать-то, а?

И Ливотовы шли в гости без Ливотова. А он возвращался домой лишь под утро, потому что коровенка никак не могла растелиться, и без него, дело не обошлось бы. Так было, когда он, пунктовый ветврач, просто обязан был это делать. Так продолжалось и потом, работал ли Павел Иванович на скотобойне, или в земотделе районным ветврачом, или читал лекции в сельхозтехникуме и уж, конечно, имел не только формальное, но и моральное право сослаться на других. Да и как отказать? Подчас и не скажешь, какое горе для людей горше — болезнь ли ребенка или единственной рогатой кормилицы многодетной бедняцкой семьи, задумаешься.

Он сам был из такой вот многодетной, едва сводившей концы с концами, семьи. Село Чебрахино, грифельная доска начальной школы, гимназия в Твери, ветеринарный институт в Варшаве. Он учился на последнем курсе, когда начались события 1905 года, а вместе с ними и студенческие волнения. Институт был закрыт, дабы уберечь студентов от злокозненных влияний. Не уберегли. И если б они были более внимательны, те люди, что летом 1917 года несколько раз переворачивали с обыском квартиру Ливотовых вверх дном, они обнаружили бы в семейных альбомах открытки явно не альбомного характера. Странные, неизвестно когда и кем изданные, почти анонимные, они тем не менее красноречиво свидетельствовали о политических настроениях своего собирателя. Вот открытка с изображением вполоборота, в глубокой задумчивости сидящего П. П. Шмидта. Вот фотография, сде-

ланная в камере Бутырской тюрьмы с темным силуэтом узника у зарешеченного окна.

Вот открытка «Вечная память» с фотографиями большевиков-железнодорожников, расстрелянных карателями в 1905 году.

На обороте рукой Ливотова сделана надпись: «Борцы за свободу». Полвека прошло, но чернила почти не выцвели. Почти не выцвели чернила и на открытках, адресованных Шурочке Фатчихиной, уехавшей со своим ветеринаром бог весть в какую даль, которую не на всякой карте-то и найдешь. Окончив гимназию, она пыталась устроиться делопроизводителем, это была единственная для нее возможность получить работу и тем самым помочь семье. И тут — Ливотов. Он доучивался в Дерпте, как при царизме называли Тарту, и привез оттуда диплом, выданный «по указу его императорского величества Николая Алексеевича, самодержца всероссийского и пр. и пр.». Ливотов звал в Семиречье, куда получил назначение на борьбу с чумой. У нее было безвыходное положение. И она согласилась.

— И только поэтому?

В угасшем лице очень пожилой, очень усталой женщины на мгновенье оживают невероятно далекие, смутные черты Шурочки Фатчихиной, глядящей на нас с рассыпанных по столу фотографий.

— Что вы... Что вы...

Так она оказалась в Киргизии. Приехав в Токмак — заплакала, такую скверную глухомань она увидела. А он, Ливотов, чуть ли не на следующий день, и толком даже не пристроив ее, выехал на эпидемию, изо дня в день объезжая аил за аилом, осматривая скот, делая прививки, оставляя на границах карантинных зон юрты под черным флагом и объясняя, убеждая, приказывая, потому что люди прятали заболевших животных, не верили врачу, осложняя и без того невероятно трудную задачу: в то время во всей

Семиреченской области работал всего лишь один зоотехник. Потом за ликвидацию чумы в Семиречье он получил орден Станислава третьей степени. Ей казалось, что это слишком малая плата, слишком часто и долго приходилось ей ждать возвращения Павла Ивановича из его бесконечных поездок по Тянь-Шаню. Только потом оценила она всю значительность этой награды, когда в трудный для семьи день ей удалось выменять на «Станислава» продукты и досыта накормить детей. Оказывается, есть все-таки прок и от орденов...

В связи с эпидемией ему пришлось работать то в Пишпеке, то в Кочкорке. Из Кочкорки, из урочища Караго он добирался до Токмака на своем Сером всего лишь с одним коротким привалом, накормив жеребца у Красного моста. А это — сто сорок верст. Так он узнал киргизскую «ат», ее удивительную выносливость. Теперь он не мог не думать о том, как сделать эту породу еще лучше, на многие годы вперед неизлечимо «заболев» лошадьми, конюшнями и скачками. Он знакомится с Пяновским и Петраковой, по их совету переезжает в Пржевальск, он начинает работать вместе с ними, то секретарствуя в скаковом обществе, то заведуя государственной конюшней, где в денниках стояли такие лошади, как доставленный из Аравии чистопородный «араб» Драгоман, или Гармотан, сын знаменитого Галтимора, купленного царским правительством в Англии за 200.000 рублей.

Два раза в году, в июне и сентябре на пржевальском ипподроме проходили конные соревнования. Для маленького, затерянного на самом краю страны городка скачки были не просто спортивным состязанием, рассчитанным на узкий круг любителей и специалистов. Это было гулянье и представленье, театр, праздник, всеобщее собрание, куда приходили семьями, в лучших нарядах, приходили основательно, на целый день,

услышать, что делается в мире, что говорят в народе, и, конечно, «поболеть». Скачки для чистокровных лошадей собирали немного участников, такие лошади были редко кому по карману. Но аламан-байга принимала всех, особой популярностью пользовалась она у киргизского населения. И тут страсти кипели вовсю. Победители награждались денежными призами и скаковыми свидетельствами, лучшие жеребцы отличались бронзовыми медалями, которые на шелковых лентах тут же, под рев и крик болельщиков, надевались на шеи разгоряченных коней. И не было ничего удивительного в том, что люди, причастные к рождению этих празднеств, зачастую делавшие все на свой страх и риск, пользовались в Прииссыккулье особой известностью и любовью.

Серого, с которого, может быть, и началась ливотовская «лошадиная болезнь», сторговал для молодого ветврача Филипп Селиверстович Дубовицкий. Коренной токмакчанин, знаток окрестностей, местных обычаев и языка, он после революции становится активным участником гражданской войны в Семиречье, одним из наиболее известных и уважаемых красных командиров. Председатель совета военной дружины в Токмаке, он устанавливает Советскую власть в Нарыне, участвует в подавлении Беловодского и Верненского мятежей. А тогда он был ветеринарным стражником, то есть санитаром, явившись для Ливотова во многих делах незаменимым, всегда надажным помощником. Дружеские, верные отношения сложились у Ливотова и в Пржевальске, с санитарами Уметалы Оромбаевым и Момыркулом Таштакеевым. Санитары не только работали с Павлом Ивановичем, но и жили вместе, с семьями, благо места на казенной усадьбе ветврача хватало для всех.

Американский писатель Амброз Бирс, которому, наверное, очень не повезло в жизни, писал в своем «Сло-

варе сатаны»: «Дружба — корабль, в ясную погоду достаточно просторный для двоих, а в ненастье—только для одного». В доме Ливотовых корабль, о котором так скептически отзывался Бирс, остался просторен в самое лихое ненастье. Летом 1916 года Ливотов осуществлял ветеринарный надзор на Каркаре, где ежегодно устраивалась знаменитая Каркаринская ярмарка. На этот раз он выехал в горы с семьей, потому что места на Каркаре дачные, зеленые и лесистые, с чистыми реками среди невысоких спокойных гор. Неспокойными оказались горы в то лето. Однажды, оставшись наедине с Ливотовым, очень встревоженный Уметалы стал настойчиво просить отправить Александру Александровну с детьми домой, да и самому поберечься — быть беде, киргизы поднимаются против белого царя. Ливотов не поверил. Однако послушался, и через два дня Александра Александровна с санитарами добралась до Пржевальска. И вовремя. На улицах громоздились завалы из спиленных тополей, по ночам небо кровянело далекими и близкими заревами, все чаще, то там, то здесь слышались темные вести о погромах и убийствах, небывалых прежде в этом вроде бы благополучном краю.

Благополучном? Это уж как для кого. Обездоленному киргизскому бедняку, чаша терпенья которого переполнилась через край, трудно было разобраться в том, кто истинный виновник его бедствий и нищеты. И горе крестьянину-переселенцу, да и любому «неверному», захваченному повстанцами в поле или на дороге. И точно так же горе ожидало любого, даже совсем не причастного к восстанию киргизского жителя, окажись он на пути тех, кто лишился в эти дни то близких, то крова над головой, а то просто дармовых, безответных работников, на которых так привычно и прибыльно было ездить. И в этой трагической, искусно подогретой вспышке межнациональной розни надо бы-

ло обладать немалым мужеством, чтобы сохранить свое человеческое достоинство, не осквернив его ни националистическим угаром, ни предательским благоразумием и невмешательством.

Санитары укрывались в доме Ливотовых. Но каждый день кто-то из них покидал это убежище, чтобы добраться до гарнизонных казарм, где пряталось русское население. Там была и Александра Александровна с детьми. Она только что перенесла роды, дети болели, и молоко, которое поочередно доставляли ей Уметалы и Момыркул, было просто необходимо.

— Не приносите, не ходите сюда, вас собираются убить,— просила Александра Александровна.

— А как же вы? Что будет, то будет,— неизменно слышала она в ответ. Они только и надеялись, что вот вернется Павел Иванович и все устроится. И слух о том, что люди видели Ливотова убитым, был ударом не только для Александры Александровны.

Но он вернулся. Снова зажили вместе, три семьи под одной крышей. Иногда в дом ломились: «Открывай, хозяин, до твоих друзей есть разговор». Он открывал, упершись в косяк, вставал на пороге, вглядываясь в темноту:

— Только через меня.

Слышалась ругань, матерщина, но дальше этого не шло — Ливотова трогать не решались.

Потом в дом постучалась нужда. В казармах Ливотовы получали паек, но этот паек выдавался на одну семью, а кормить надо было три. Да и вокруг люди бедствовали. Вовремя не убранный хлеб стоял, не осыпался, и его жали чуть ли не до рождества.

— Знак божий, божий хлеб,— крестились православные. Но от этих молитв больше зерна не становилось. Появились голодающие. Особенно из разоренных семей. Они пошли по дворам, и те, кто заходил иногда к Ливотовым, даже не стучались, они знали, что если

толкнуть устроенную внизу форточку — на подоконнике обязательно будет лежать ломоть хлеба.

Летом 1917 года положение с продовольствием стало еще затруднительней. Теперь Ливотову приходилось думать не только о тех, кто жил рядом — его избрали председателем Пржевальского продовольственного комитета. Но он не долго занимал эту должность. Александра Александровна прекрасно помнит то состоявшееся 9 июля заседание, на котором с криком и шумом Ливотов был исключен из комитета... Еще бы! Самолично отправил несколько подвод с хлебом голодающим киргизским беженцам из Синьцзяна! Это божий-то хлеб! Его называли «немецким шпионом», перерыли дом, ему угрожали расправой, но Павел Иванович был доволен: он все-таки успел сделать то, что считал своим долгом сделать. А там — пришла революция.

Для него никогда не существовало вопроса — принимать или не принимать Советскую власть. Вопрос заключался в другом, насколько будет принято его желание служить новой жизни, насколько он, царский, как тогда говорили, специалист, будет иметь возможность спокойно, с полной отдачей сил делать свое дело. Ведь для многих пржевальцев, какой бы репутацией он ни пользовался, сколько бы ни работал, ни возился в навозе и болезнях, он был и оставался барином, белой костью, времячко которых — закатилось. Закатилось, и вот в городском парке разбит, сметен с лица земли памятник его основателю — врачу Барсову. Закатилось, и вот возбужденная толпа гонит быков к Каракольскому заливу, чтобы свалить, стащить в Иссык-Куль памятник Пржевальскому, поскольку поставлен монумент царскому генералу, а генералам место известно где — в озере. К счастью, памятник был сооружен достаточно прочно, да и люди нашлись, сумевшие отговорить от повторных попыток...

Орден Трудового Красного Знамени, которым республика воздала должное своему заслуженному ветврачу — сугубо частное, но в полной мере красноречивое подтверждение верности когда-то избранного пути. Лично же для Ливотова этот орден дал уверенность сказать у края жизни о том, что обещание «усердно действовать», которым он начал свой пятидесятилетний труд интеллигента — выполнено с лихвой. И он, конечно, мог уверенно заявить так еще и потому, что теперь его ношу несут по земле дети и внуки, целая династия, даже если кто-то из них выбрал себе совсем иное ремесло.

А теперь дом пуст. Дверь в гостиную плотно закрыта, там чисто, но нетоплено: когда в доме живет один человек, незачем топить все печи, хватит и одной. Печь стала плохо греть, наверное, нужен ремонт, ну да ладно, кто-нибудь переложит. Нет, Ливотова не одна, через дом — родня, дочь во Фрунзе зовет, на бульвар Дзержинского, сын в Рязань тянет, в свою трехкомнатную секцию на пятый этаж. Но куда же ей на пятый этаж! — нет, не поедет, слишком высоко от земли, слишком дорог ей этот старый, своими руками сложенный дом, как она может его оставить? Александра Александровна кутается в платок, задумчиво ведет рукой по черному дерматину, словно смахивая невидимую пыль, и письменный стол лежит перед ней как большая грифельная доска, на которой можно писать заново...

БИБЛИЯ, ИССЫК-КУЛЬ И УЕЗДНЫЙ НАЧАЛЬНИК

С Чайковским, о котором так хотелось узнать что-либо после прочтения воспоминаний Каульбарса, меня неожиданно познакомил все тот же «Туркестанский сборник». Сначала на глаза попались собранные Чайковским данные по переписи населения Иссык-кульского уезда, затем — нечто исключительное — целый ученый трактат по поводу прошлого и... будущего реки Чу.

«Жемчужиной в песчаной оправе» называли в ту пору Среднюю Азию на страницах западноевропейских и русских газет. Беспредельные пространства пустынь, захлестнутые песками руины древних городов, бесплодные степи, простирающиеся на сотни и сотни верст — все это не могло не волновать воображение как исследователей, так и думающей части царской администрации, занятой освоением земель, только что вошедших в состав России. «Если сообразить, что богатства растительной природы составляют первое условие оседлости и образования человеческих племен,— писал в 1859 году Михаил Венюков,— то анализирующему разуму предстанет картина, быть может, еще более грустная, чем самому чувству. Положительно

можно утверждать, что пока Каспийское море не соединено с Черным, пока воды его не подняты на один уровень с океаном, а поверхность не расширена до того, чтобы закрыть часть степей туркменских, оренбургских и сибирских — до тех пор Средняя Азия не способна к тому же историческому развитию, как Европа».

Итак, будущее среднеазиатских народов ставилось в зависимость... от уровня Каспия. Чайковский ключ к решению всех среднеазиатских проблем увидел в... Иссык-Куле. В 1887 году во Владимире, в печатне Паркова он издает книгу «Туркестан и его река. По библии и Геродоту». Еще раньше, в 1873—1875 годах, в «Туркестанских ведомостях» он печатает свой «Опыт решения вопроса о причине, изменившей течение Аму-Дарьи», в котором высказывает мнение о том, что река, впадавшая когда-то по Узбою в Каспий, была вовсе не Аму-Дарья, а великая Чу, Яны-Дарья, с притоками Аму и Сыр. Затем произошли какие-то геологические катаклизмы, единая многоводная долина распалась на несколько, а верховья Чу, запертые в горах провалом, дали начало озеру Иссык-Куль. Подтверждение своей гипотезы Чайковский видел в превышении Арала над Каспием, в прослеживании непрерывного русла от Иссык-Куля до Узбоя и далее; оставалось найти какие-то исторические свидетельства, поскольку подобная катастрофа, разом превратившая в ничто сложившуюся за века систему орошения для обширных территорий, должна была вызвать «слишком шумное отчаяние, чтобы история оставалась к нему глуха».

Чайковский обращается к древним. Страбон свидетельствует о величайшей реке Азии, впадавшей в Гирканское, то есть Каспийское море, и являвшейся важнейшим торговым путем из Индии в Европу. По реке плыли многочисленные суда, а по обоим берегам были расположены цветущие города. При Дарии Гистаспе Туркестан платил 900 талантов серебра, в то время,

как богатейший Египет только 700. Пифагор, описывая свое путешествие через северные пустыни в Индию, также отмечает изобилие земных благ, рождаемое рекой Ария, протекающей близ озера Зере по землям Зарангейским. По Геродоту, Туркестан орошался «великою рекою Ак именуемою», а в самой Азии есть такая равнина, которая «по всем сторонам горами смыкается». И вот это «ровное место внутри гор стало озером, потому что реки туда впадают, но не имеют выхода оттуда. И так до сего водою пользовавшиеся претерпевают ныне великий вред». Слова эти до такой степени отвечали построениям Чайковского, что, дойдя до них, он даже воскликнул: «На мою долю выпал счастливый случай только повторить теперь то, о чем 24 века тому назад с достаточной ясностью занесли в свои книги такие авторитеты, как Геродот и пророк Иезекииль».

А что говорил в библии пророк Иезекииль? Оказывается, часть жизни пророк провел по соседству с Туркестаном, который входил в страну Ассур, то есть Ассирию — богатое, цветущее государство, «ибо корень его был у великих вод». Иезекииль называет его «кедром на Ливане». Под великой тенью ливанского кедра «жили всякие многочисленные народы», «все дерева Едемские... завидовали ему». Высоко поднялся Ливанский кедр. Выше всех вознес он свою вершину и «сердце его возгордилось величием его». А этого Господь не потерпел. «И срубили его чужеземцы лютейшие из народов, и повергли его на горы... И из-под тени его ушли все народы земли и оставили его...» А Господь «сделал сетование о нем, затворил ради его бездну, и остановил реки ея, и задержал большие воды... чтобы никакие дерева при водах не возвеличались высоким ростом своим».

«Шумом его падения Я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю»,— читает Чайков-

ский Иезекииля, тут же давая библейской притче свое толкование. А именно: «толчок, затворивший воду в дальнем углу Туркестана, гибельно отразился недостатком воды для орошения полей на всей громадной площади этого края». Следовательно,— развивает свою гипотезу удалившийся на покой уездный начальник,— «надо отворить бездну Иезекииля», «дать сток озеру», «открыть выход жизненным сокам Туркестана, скрывшимся в озере Иссык-Куль много веков назад; вызвать снова к жизни эту громадную страну, дать ей опять то «множество вод», благодаря которым вырос и развился «величественный кедр».

Для мечтателя из Пржевальска не существовало каких-либо проблем. Технических — тем более. «Для того, чтобы прорыть канал менее 10 верст длиною, от берега озера Иссык-Куль до русла реки Чу — не потребуется, конечно, особенного труда и средств». А уж «вода сама дойдет руслом Чу до Сыр-Дарьи и далее руслом Яны-Дарьи до Аму-Дарьи и Узбоя». Опасность затопления расположенных ниже селений? И это не страшно, «спуск воды из Иссык-Куля на первое время может быть из осторожности урегулирован шлюзами». Во всяком случае, «задача обещает слишком великие результаты, чтобы остановиться ее выполнением ради сомнительных опасений затопления, легко устранимых».

«Сомнительных опасений», «легко устранимых»... Так и видишь улыбки тех, кому не на словах, а на деле доводится ныне заниматься поистине грандиозным гидротехническим и ирригационным строительством на среднеазиатских реках, когда бы им попались на глаза эти запальчивые строки.

ОДИССЕЯ МЕРЦБАХЕРА

■

Перечитал я написанное о Чайковском и... перечитал еще и еще раз. Что-то не то... Не так ли десятиклассник снисходительно поглядывает на первоклашку, хотя для подобной снисходительности у него нет ни малейших оснований? Не с тем ли чувством превосходства иной выпускник художественного училища поглядывает на шишкинские сосны, а альпинисты, доставленные к Хан-Тенгри на вертолете, к самому его подножью, с улыбкой поминают доктора Мерцбахера, которому несмотря на все усилия так и не удалось ступить на снега «Повелителя духов»?

Как часто и бездумно задираем мы нос перед нашими предшественниками, полагая, что раз мы — после, значит, мы — и на ступеньку выше, принимая достижения века, как нечто из области личных достоинств и заслуг... А вот, если всерьез, так ли уж просто задирать нос перед тем же самым Мерцбахером?...

Когда мюнхенский географ Готфрид Мерцбахер начал тяншанскую серию своих путешествий, ему шел шестой десяток лет. Но он был крепок, энергичен и предприимчив, а на горной тропе не всякий молодой

человек смог составить бы ему надежную компанию. Он был холост, вел спартанский образ жизни, занимался спортом, гимнастикой, с юных лет нацелив себя на главное — путешествия в неизведанные страны. Уже в юности он изъездил Европу, путешествовал по Альпам, Пиренеям и Кавказу. Его внимание привлекает одна из любопытнейших географических загадок того времени — горная система Тянь-Шаня, и в середине 1890 годов Мерцбахер предпринимает рекогносцировочную поездку в Туркестан, в Заиссыккулье, чтобы самому составить представление об условиях путешествия в этом совершенно неизученном и труднодоступном крае. Домой он возвращается через Персию, через Индию и Гималаи, а вернувшись в Мюнхен, начинает думать о путешествии в... Кордильеры, которые, к тому времени, стали его чрезвычайно интересовать. И только очередной переворот, смутная политическая обстановка в Боливии вынуждают его отказаться от планов, связанных с Южной Америкой. Мерцбахер едет в Тянь-Шань. В качестве ботаника он приглашает садовода из Пятигорска — Русселя, топографические работы взял на себя мюнхенский инженер Пфанн.

В начале лета 1902 года маленькая экспедиция Мерцбахера прибывает в Пржевальск. Тут же едут в Каркару за лошадьми, а затем перебираются в Нарынкол, откуда рукой подать и до Баянкольского ущелья. Изучают Баянкол, его величественную «Мраморную стену», переваливают в Сары-Джас, где занимаются съемкой ледника Семенова, протянувшегося на тридцать верст. Пытаются подняться на пик Семенова, но обильные, лавиноопасные снега заставляют отступить.

Зимовал Мерцбахер в Кашгаре. При переправе через Музарт лошадь с вьюком снесло и, несмотря на герметическую упаковку, часть отснятых кассет пропа-

ла. Пришлось из Кашгара ехать зимой в Ташкент, надеясь пополнить там запас фотоматериалов, а на лето 1903 года вновь планировать посещение уже пройденных мест. Поэтому в горы Мерцбахер выезжает рано, уже в марте он изучает с юга «прорыв» Сары-Джаса через хребты Тянь-Шаня, а затем, перевалами Бедель и Джуука, спускается в Пржевальск. Здесь, а также в Каркаре и Нарынколе он набирает новую экспедицию. Вновь съемка ледника Семенова, фототеодолитные работы по определению высоты Хан-Тенгри, попытки достичь его подножья, а может быть — и самой вершины.

Через перевал Тюз-Ашу Мерцбахер вышел в долину Иныльчека. Перед географом лежал громадный, неведомый никому ледник, и Мерцбахеру стоило немалого труда уговорить своих проводников и караванщиков продолжать путь.

Через хаос моренных валов и термокарстовых воронок, через ледовые трещины и промоины, по ледовым полям, мимо ослепительно белых пирамид сераков и предательски осыпающихся скальных стен географ упрямо, километр за километром пробивался к слиянию двух исполинских ветвей ледника, к слиянию Северного и Южного Иныльчека, чтобы здесь, к своему великому разочарованию убедиться в том, что Северный Иныльчек для его каравана — недоступен. На пути встали ледовые пропасти, ледовые фиорды, ледовое озеро с отвесными бортами и айсбергами.

И тогда географ идет Южным Иныльчеком. Он преодолевает еще тридцать километров труднейшего пути по леднику вдоль Тенгри-Тага, и перед ним как награда, как осуществленная давняя и заветная мечта встала снизу доверху открытая взгляду мраморная пирамида великой вершины. Мерцбахер у подножья Хан—Тенгри! Однако тем дело и кончилось: время восхождений на такие высоты еще не настало.

ПО ЛЕЗВИЮ ТЕНГРИ-ТАГА

Никто из них, даже самые опытные, даже те, кому довелось взглянуть на мир с высоты пика Коммунизма, пика Победы, кому приходилось ступать по снегам самых причудливых вершин Кавказа, Памира и Тянь-Шаня, никто из них никогда не видел такого обилия, такой фантазии, такой невероятной пышности снежных карнизов, как здесь, на гребнях хребта Тенгри-Таг. Карнизы напоминали то ворвавшуюся на берег волну, то застывшие белые флаги, то кружевные складки тюлевых занавесей, а то и невероятно сдобные, с нависающей верхушкой куличи, в украшении которых щедрый кондитер вконец утратил чувство меры. Все это горело, светилось на солнце, алмазно блистало снежной пудрой, зеленело и голубело и, наконец, рушилось, опадало, стекало вниз стремительными хвостами утренних лавин. Зрелище вполне заслуживало и упоительного разглядывания, и жаркого восхищения, если б не мысли о том, как все это пройти, и можно ли здесь пройти вообще.

Впрочем, об этом думалось не только на маршруте, но и задолго до экспедиции, с первых же ее наметок. Годом раньше, в августе 1970 года, трое киргиз-

ских альпинистов — столяр из Фрунзе Владимир Кочетов, скалолаз-монтажник со строительства Токтогульской ГЭС Анатолий Балинский и фрунзенский геолог Евгений Стрельцов в составе команды московского «Буревестника» совершали восхождение на самую суровую вершину Тянь-Шаня — пик Победы. Накануне выхода на штурм, во время воздушной рекогносцировки, из иллюминатора вертолета они разглядывали и фотографировали главным образом не Победу — с ней, как будто, все было ясно. Они смотрели совсем в другую сторону, на север, где каскадом филигранно выточенных карнизов, рифленых лавинных желобов, висячих ледников и многосотметровых скальных стен вздымался второй по высоте хребет заоблачного Тянь-Шаня — Тенгри-Таг.

И потом, спускаясь с Победы, казалось бы, отдав борьбе над самым северным семитысячником планеты все, что имели, предельно усталые, с прихваченными морозом лицами, они нет-нет да и поглядывали через провал Иныльчекской долины на север. Там сияли вычурный, словно взбитый из засахаренного белка купол пика Максима Горького, синеватое лезвие пика Абалакова, снежная папаха пика Чапаева и, наконец, мраморная пирамида Хан-Тенгри, на целую голову возвышающаяся над всеми прочими вершинами. Редкий по красоте, по своей выразительности маршрут этот ничем не походил на те хитроумные комбинации известного с полуизвестным, на которые в последнее время все чаще стали пускаться альпинисты, «конструируя» себе маршруты повышенной трудности в расчете на «золото» очередного альпинистского чемпионата. Траверс же, то-есть последовательное прохождение пиков Горького, Чапаева, Хан-Тенгри был естественен, логичен от начала и до конца, а по трудности он, возможно, представлял последнюю по своему масштабу альпинистскую проблему района. Осуществ-

ление этого маршрута обещало стать событием, которое по праву бы заняло свое место рядом с первовосхождением на Хан-Тенгри, на Победу, рядом с траверсом пика Победы с запада на восток или с востока на запад. И уж, конечно, этот маршрут, отвечающий лучшим традициям отечественного альпинизма, представлял немалый интерес и с познавательной точки зрения. Ведь на большей части хребта Тенгри-Таг еще никогда не ступала нога человека.

Мысль о траверсе этих четырех пиков, конечно, не была новой. Еще в 1962 году такая попытка была предпринята командой московского «Труда» под руководством Бориса Гаврилова. Готовясь к траверсу, москвичи поднялись на пик Чапаева, оставили там заброску, совершили восхождение с этой же целью и на пик Горького. Однако при спуске группу накрыло лавиной, смело вниз, кое-кто из альпинистов получил травмы, так что работу пришлось свернуть. И хотя с тех пор в районе ледника Иныльчек побывало множество экспедиций, успешно пройдены сложнейшие высотно-технические маршруты, в том числе и такие выдающиеся, как, например, полный траверс массива пика Победы — желающих испробовать свое мастерство на кружевных карнизах Тенгри-Тага не находилось. Можно упомянуть разве что попытку известного альпиниста, неоднократного чемпиона страны Валентина Божукова совершить летом 1970 года траверс Хан-Тенгри со стороны юго-восточного гребня. Но эта попытка запомнилась лишь тем, что во время подъема вторая связка команды попала в лавину и, пролетев в массе талого снега восемьсот метров по скальным сбросам, очутилась на леднике. Невероятный случай, все трое остались живы, даже никто особенно не пострадал, но, конечно, о продолжении траверса нечего было и думать.

Свои счеты с «Повелителем духов» были и у кир-

гизских альпинистов. 6 августа 1967 года они разбили свои палатки у самого подножия Хан-Тенгри, с тем, чтобы на следующее утро выйти на обработку его Мраморного ребра, одного из красивейших маршрутов на вершину. Здесь, для связи с базовым лагерем должен был остаться старший инструктор альпинизма, тренер экспедиции, художник Афанасий Шубин. Ранним утром 7 августа он умер. Инсульт. Экспедиция была отозвана, она только успела сделать заброску на перемычку между пиком Чапаева и Хан-Тенгри, совершить первовосхождение на безымянный пятитысячник к западу от пика Горького, назвав его пиком «Советская Киргизия», да встретить на гребне восточной Победы группу челябинских альпинистов. Челябинцы завершали свой рекордный, двадцатидневный траверс массива Победы, продукты у них, мягко говоря, были на исходе, так что дружеская встреча, дружеская забота и кастрюлька с горячим супом — все это оказалось очень кстати.

Среди челябинцев был и Борис Гаврилов. Оправившись после неудачи на пике Горького, Борис в последующие годы сделал первовосхождение на пик Шатер, поднялся на Хан-Тенгри по классическому пути, взошел на пик Ленина. И вот, впервые в истории советского альпинизма — полный траверс массива грозной Победы. Приятно было поздравить Гаврилова еще и по той причине, что Борис жил когда-то во Фрунзе, здесь кончал школу, здесь, в Ала-Арче сделал первые свои восхождения, начав, как и многие киргизские альпинисты, с Пионера, с Комсомольца, с вершин Адыгене и Ак-Сая. Знал он, конечно, и Афанасия Шубина. Ведь Шубин в течение многих лет был начальником учебной части альплагеря Ала-Арча. Только тогда, внизу Володя Кочетов смог рассказать Борису Гаврилову о том, почему они не пошли на Мраморное ребро...

Четыре года понадобилось киргизским альпинистам для того, чтобы они вновь смогли организовать свою экспедицию к Хан-Тенгри. И вот, 9 июля 1971 года. В путь! Два дня добирались машиной до устья Инильчека, четыре дня просидели на поляне Майда-Адыр в ожидании вертолета. В былые времена экспедиции перебазировались на Инильчек вьючным транспортом, теперь появилась возможность избежать этих мытарств: «Пользуйтесь услугами Аэрофлота!» Прилетел долгожданный вертолет, но экипаж совершить посадку на ледник отказался, а выброску груза произвел так небрежно, что значительная часть продуктов погибла, а то, что долетело благополучно — пришлось собирать чуть ли не по всему леднику. И ребята не раз вспоминали Игоря Цельмана, вертолетчика из Алма-Аты, которого знали по прошлогодней экспедиции, для которого, казалось бы, не существовало никаких проблем. Игорь весело, с удовольствием, с каким-то спортивным, особым настроением выполнял даже то, о чем подчас альпинисты и не мечтали.

Здесь же люди только отбывали службу. Груз пришлось сортировать, все небьющееся сбросили, все хрупкое — несли на своих плечах. Бочка с бензином при выброске разбилась, попробовали сбросить бензин в газовом баллоне — удалось. Рацию, кстати, тоже сбросили, особым образом ее упаковав, и она вполне благополучно долетела, нормально работала, все дни между базовым лагерем и траверсантами была устойчивая надежная связь.

— Я — Горький! Я — Абалаков! Я — Хан-Тенгри!

Или просто:

— Я — траверс!

В первые же дни разделились на две группы. Одна — обрабатывала до высоты 5300 юго-юго-западный гребень, другая — делала заброски на перемычку меж-

ду пиком Чапаева и Хан-Тенгри. Отрыли на перемычке снежные пещеры для ночевок. Второй состав экспедиции сходил на пик Чапаева. Первые же выходы показали, что все участники находятся в отличной форме, были разве что некоторые опасения насчет Евгения Стрельцова, провалившегося в трещину во время выхода на «перемычку». Но и к нему врач экспедиции Татьяна Богомазова не смогла предъявить особенных претензий. Тренерский совет назначил выход на 10 августа. В составе команды — капитан, мастер спорта Владимир Кочетов, мастер спорта Эльвира Насонова, кандидаты в мастера спорта, заместитель капитана команды Анатолий Балинский, начальник экспедиции Евгений Слепухин, Евгений Стрельцов, Сергей Адаманов, Валерий Денисов и Владимир Айзин.

Грозным он оказался, этот юго-юго-западный гребень. Едва прошли осыпи подножий и по наклонной полочке вышли к залитому льдом кулуару, как начались очень крутые, подчас отвесные, а главное — страшно разрушенные скалы, сложенные дробленой «кашей» сланцев и известняков. Все было в трещинах, но трещин, годных для того, чтобы надежно забить крюк и навесить веревку — таких трещин почти не было. И, значит, шли, практически, без надежной страховки. Особенно неприятны были полосы льда с выступающими из них гривками скал. Лед был слишком тонок, чтобы применить ледовый крюк, а скалы были слишком рыхлы, чтобы использовать скальный. О сложности стенных участков принято судить по числу забитых крючьев. Чем больше было использовано крючьев, тем, стало быть, был сложней и пройденный маршрут. Теперь об этой арифметике думалось с совершенно неожиданной стороны. Группа забила сто, двести крючьев? Как повезло группе! Двести надежных трещин! Двести дополнительных точек опоры и

мест страховки. Какие надежные скалы достались восходителям!

Стенные участки траверсанты проходили без рюкзаков. Затем рюкзаки вытаскивали по веревке, и тогда для тех, кто был внизу, начиналась бомбежка, от которой некуда было деться. Летели куски льда, каменное крошево, пришлось навешивать канатную «дорогу». Тогда сыпать стало меньше, но напряженное ожидание камня сверху осталось. На ночевках рюкзаки подвешивали к крючьям, спали в гамаках. Перед сном только и разговоров: «Вот выйдем на снег!»

На снег вышли после третьей ночевки. Гребень вздымался над траверсантами взлет за взлетом, карниз за карнизом, насколько можно было глянуть вперед. Теперь, становясь на ночь, рубили карнизы и на их «пнях» ставили палатки. Двадцать одну ночевку провели альпинисты за время траверса. И шестнадцать из них — на срубленных карнизах — больше негде. Встречались и двухсторонние карнизы. Говорят, таких не может быть, но вот впереди острое лезвие гребня, с гребня в сторону Южного Иныльчека свисает круто выгнутый над бездной карниз, а едва его удалось преодолеть — тотчас же, крыло к крылу на пути встал другой надув, теперь уже в сторону Северного Иныльчека — вот и думай, куда шагнуть! По всем существующим правилам, карнизы проходят с наветренной стороны, ниже линии их возможного отрыва. Но склон так крут, что отбивает всякую охоту даже смотреть на него... Значит, по линии отрыва. Но ее еще нужно распознать, прочесть под ненадежным снегом, всегда ли это удастся?

На шестые сутки они одолели юго-юго-западный гребень и вышли на водораздел хребта Тенгри-Таг. Очередной взлет венчался отвесным со всех сторон надувом, напоминавшим ледовый серак. Посоветовавшись,

решили идти в лоб, и капитан медленно пошел вверх, всем телом вжимаясь в воздушную, ничем не связанную массу снега, терпеливо приминая, утрамбовывая ее в какое-то подобие ступеней. Это был даже не снег, он насквозь вымерз, истаял в предельной сухости разреженного воздуха, он превратился в свой кристаллический остов, иней, изморозь, с хрустальным звоном осыпающуюся в пустоту каверн. Никакого сцепления, никакой опоры под ногами. Кочетов вышел на полторы веревки, поглядел, засомневался, с трудом спустился вниз.

— Может, попробуем слева?

Слева — это над ледником Северный Иныльчек. Очень круто, но выбора нет. Едва ступили — склон ожил, молнией зазмеилась трещина, по ногам хлестнула вязкая лапа лавины. Стрельцов был у самого верха, и его чуть задело. Кочетова снесло, но он тут же вогнал в склон ледоруб, задержался. Сережа Адаманов был ниже всех, и его утащило метров на пятнадцать. Очухались, подобрали веревку, выбрались на гребень.

— Ну, дела... А если справа?

Справа — это над ледником Южный Иныльчек. Стена серака обнадеживающе поблескивала льдом. Может, удастся пройти с крючьями, с рубкой ступеней? Сунулись — рука с ледорубом свободно ушла в хрупкую изморозь. Это не лед, это всего лишь ледовая корочка! Бить наклонную траншею и по ней выбираться? Но в чем бить, вдруг все это рухнет? Нет, надо еще раз попробовать через верх. Вперед вышел Валерий Денисов, скрылся за перегибом, веревка надолго замерла. Потом тронулась, поползла, поползла, прошел Денисов!

Вернувшись домой, усевшись за составление отчета, они испытали не меньшие трудности, пытаясь хоть как-то передать на бумаге сложность преодоления та-

ких участков. Техническую сложность! Стена? Это не стена. Склон? Это не склон. А им понадобилось несколько часов, чтобы пройти эти две веревки, пройти труднейшим лазанием по снегу. Снежное лазание? Это что за новость?

— Перила натянуты, но не нагружать!

И они старались не нагружать. Не нагружать веревку, потому что крюк можно легко вытащить рукой. Не нагружать ступеньку, с трудом спрессованную из рассыпающегося снега. Не нагружать скальный выступ, разваливающийся под ногой на составные части. Шли крадучись, буквально не дыша, балансируя на самом лезвии гребня, словно канатоходцы, разве что без шеста-балансира в руках. Эту ходьбу Балинский назвал лезгинкой в замедленном темпе, но посмеяться шутке не решились, отложили на потом. Сложней всего было, конечно, первым. И не потому, что было тяжело физически, тут прежде всего приходила иная усталость, знакомая разве что саперам на минном поле. Что под ногами? Выдержит или нет? Были дни, когда им удавалось проходить всего лишь четыре-пять веревок. Одна веревка — это сорок метров. И то, что первая двойка проходила за семь-восемь часов, остальные шестеро делали за два-три часа. Все остальное время надо было неподвижно сидеть на месте, с той осторожностью, чтобы не нарушить с трудом созданную на гребне опору. Правая нога — над Южным Ныльчеком. Левая — над Северным. Что ж, они знали, на что шли. Примерно знали.

Там, глубоко внизу, составляя график движения, они рассчитывали при всех обстоятельствах пройти пик Горького за шесть дней. А вышли на снежные поля предвершинного плеча только восемнадцатого. Тотчас, несмотря на непогоду, принялись искать заброску Гаврилова — было бы очень кстати хотя бы немного пополнить запас продуктов, но ничего не обна-

ружили. Не нашли и тура с запиской. Сама вершина — отметка 6050 метров — крутая, снежная «шапка», там и искать бессмысленно, тем более, что прошло девять лет. Возможно, заброска была оставлена на второй «шапке» вершины, что виднелась чуть ниже и южнее, но до нее метров двести, и продолжать поиски, теряя без особых шансов на успех время и силы, не хватило духу. Ах, черт, надо было все же получше расспросить Гаврилова, виделись ведь с ним в прошлом году, опять их дорожки на Иныльчеке сошлись. Минувшим летом Гаврилов вновь сделал полный траверс массива Победы, только теперь с востока на запад. Единственный альпинист в стране, который дважды «прогулялся» по Победе, туда и обратно. Людей, побывавших на всех семитысячниках страны, величают «снежными барсами», вручают соответствующий значок. У Бориса такой значок имеет шестой номер, а последующие восхождения на семитысячники — по другим маршрутам — дали право считать его «дважды барсом», и тут уж он был первым. Кандидат технических наук. Мастер спорта международного класса. А начинал... Да, с Пионера, самой что ни на есть учебной вершины в окрестностях Фрунзе. И даже не с Пионера. С мальчишечьих вылазок в Малиновое ущелье и Чон-Курчак, с туристского похода на Иссык-Куль, через горы Чон-Кемина, к Пржевальску, к Аксуйским ключам, к памятнику — скале с бронзовым орлом, с бронзовой картой путешествий по Центральной Азии, с бронзовым профилем смелого, волевого лица...

Свою записку оставили метрах в семидесяти от вершины, на первой гривке скал. Вбили крюк, к нему привязали банку с запиской, начали спуск в сторону пика Абалакова. Очень нехороший снег, сухой, лавиноопасный, очень скверная видимость. Туман, белый рассеянный свет, никаких теней, никакого рельефа, единственный ориентир — комочек снега, бегущий впе-

реди от носка ботинка. Долго сидели, пережидали — может, развеет? Ждать становилось все труднее, и, когда чуть посветлело, Балинский пошел вперед, настороженно трогая снег ледорубом. Шаг, другой, десятый, и вдруг ухнул, ушел из-под ног гребень, ахнуло, ушло дыхание из груди. Он падал. Потом рывок. Он ждал рывка, ведь с ним в связке Эльвира Насонова, его жена, и Валера Денисов, они-то и выдавали ему веревку! Едва подумал о них — снова оборвалось дыхание, снова почувствовал, что летит. Летит? Нет, теперь уж, наверное, все трое! Неужели сдернул?

Снова рывок. Резкий, до боли в груди. Вибрирует туго натянутая веревка, внизу, под ногами, на тысячеметровой глубине раскачивается синяя чаша висячего ледника. Гребень где-то вверху, метрах в десяти, он весь изрублен, исполосован трещинами, просто удивительно, как он еще держится и держит на себе карнизы! Слышны голоса. Кто-то сердито кричит на Эльвиру. Наверное, сунулась заглянуть, как он там, в воздухе, живой?

Живой. Даже попытался застраховаться, ввернул в лед штопорный крюк. Только на гребне почувствовал, как болит сдавленная при рывке грудь. Вытащили его быстро, минут за пятнадцать. Тут же поставили палатки, стали думать, что делать. Хорошо, если не помяло легких, а если задело? На такой высоте малейший отек — опасность смертельная, так что же — спускаться? Но куда? По пути подъема? Нереально, слишком велик риск. По южному, гавриловскому гребню? Он тоже, как стали говорить, «не подарок». А больше путей с Тенгри-Тага нет, вплоть до перемычки перед «Ханом». Значит, идти к перемычке? Как ты себя чувствуешь, Толя? Сможешь?

С особой тревогой звучал этот вопрос еще и потому, что всего лишь год назад, на тренировке, безобидная неловкость партнера по разминке обернулась для

Балинского компрессионным переломом позвоночника и больницей, где он отлежал почти месяц на вытяжном столе. Правда, потом — знал бы лечащий врач!— Толя успешно сходил на Победу и чувствовал себя ничем не хуже других, но все-таки травма была, и была нешуточной, так вот не отыграется ли она теперь, обновленная на гребне Тенгри-Тага?

Ответа на этот вопрос пока не было. Значит, надо идти. Два дня спускались с пика Горького. Два дня— поднимались на пик Абалакова. На спусках все скатывались по веревке, последним, выбивая крючья и снимая перила, шел при тщательной страховке всей группы Женя Слепухин. Нет худа без добра. Срыв Балинского, всегда аккуратного, обстоятельного до педантизма, еще раз предостерег ребят. А то слишком уж «привыкли» к карнизам. Да и Балинский теперь не давал успокаиваться. Не всем нравились его замечания, но что делать, если он один лишь и видел карнизы с той, обратной стороны!

Грудь у Балинского побаливала, работать впереди ему не давали, разгрузили у него и рюкзак. Впрочем, рюкзаки у всех не тяжелые, ботинки они оставили, шли в шекльтонах, а продукты кончились. Полплитки шоколада утром, полплитки шоколада вечером. Не думали, что так задержатся, а быстрей не пойдешь. Гребень пика Абалакова — это бесконечная череда сланцевых копий, на остриях которых повисли пухлые шапки снегов. Такой же оказалась и сама вершина, только покрупней, повыше и оттого более неприятная — идти-то под козырьком! Вот он, пик 5881! Евгений Абалаков, известнейший горовосходитель в пору становления советского альпинизма, был и одним из тех, кто положил начало траверсам, как виду восхождений. Мировым достижением тех лет считался траверс кавказских вершин Дых-Тау — Коштан-Тау. Этот маршрут занял у команды Абалакова тринадцать су-

ток. И вот команда мало кому известных мастеров и кандидатов в мастера делает трехнедельный траверс массива, самое значительное понижение которого намного выше высочайшей вершины Кавказа—Эльбруса. Добавьте сюда коварные свойства тяньшанского снега, тяньшанской погоды, с ее холодами и непостоянством. Кто из альпинистов не читал записок Евгения Абалакова о драматическом восхождении на Хан-Тенгри в сентябре 1936 года? Теперь грозный Хан-Тенгри — всего лишь четвертый пункт программы, заключительный аккорд, причем не самый ударный. — Хвост от бульдога,— шутили траверсанты, правда, шутили, уже спустившись домой.

На пике Абалакова искать было нечего, тут еще никто не был. Консервы давно кончились, записку завернули в полиэтилен, привязали к крюку, вбитому в скалу чуть пониже вершины. Это было 22 августа. И еще полтора дня «замедленной лезгинкой» шли по гребню Абалакова на восток, и еще столько же — по широким, просторным снежным волнам пика Чапаева — к его вершине. Здесь все было сравнительно просто, идти да идти, но надо идти вверх, а для этого сил уже недоставало. 6371 метр высота пика Чапаева. Солидная высота! И все-таки силы находились откуда-то, а кому было особенно трудно — того поддерживали глюкозой из аптечки — единственное, что еще оставалось «на всякий случай».

Случай этот как будто бы наступил. А может, и нет. На вершине нашли несколько промерзших банок сардин, сгущенного молока, сахар, сухари — гавриловскую, почти десятилетней давности заброску. Но «возраст не помеха»,— заброску тут же съели, она оказалась так же кстати, как когда-то для Гаврилова и его товарищей на восточной Победе оказались кстати продукты, выуженные из щедро разверзшихся глубин кочетовского рюкзака. К вечеру 26 августа, после

тревожной ночевки в пургу у так называемого «Черного жандарма», траверсанты в полном составе благополучно провалились в комфортабельную пещеру на перемычке перед Хан-Тенгри, прямо в объятья исстрадавшегося Левана Алибегашвили.

Леван Алибегашвили страдал по нескольким причинам. Во-первых, потому, что не был на траверсе. А не был на траверсе потому, что тренерский совет назначил его начальником спасательного отряда, приковав тем самым к базовому лагерю, к рации и подзорной трубе. А как известно, куда легче лезть самому, чем смотреть, как лезут другие, причем лезут по карнизам, которые просвечивают насквозь. Все сроки вышли, траверс не кончен, а ведь ему, Левану, еще вести команду второго состава на Хан-Тенгри, успеют ли?

Траверсанты отдыхали, когда группа перворазрядников под руководством Алибегашвили ушла на Хан-Тенгри. Ушла в непогоду, и в первую же ночь ураганным ветром одна из двух палаток была разодрана в клочья. Теперь все восемь человек забирались в одну палатку, и таких ночей было три. Они изматывали больше, чем работа целого дня, а когда буран порвал и вторую палатку — задерживаться на Хан-Тенгри особого желания ни у кого не было. Ставя дату, расписываясь, Леван тяжело вздохнул. Послезавтра — первое сентября, начало учебного года, а он, заместитель директора по научной части фрунзенского автодорожного техникума, человек, клятвенно обещавший, хоть кровь из носу, но 26 августа выйти на работу,— все еще сидит на Хан-Тенгри, наблюдая, как первая двойка только-только начинает спуск.

При спуске второй состав экспедиции вновь встретился с первым. Пожалуй, впервые на гребне Хан-Тенгри разом оказалось столько человек, да еще из одной команды. Встречи всегда приятны, но тут прошла

сдержанно, связки должны были умудриться разойтись так, чтобы не валить друг на друга камни. Впервые двухстороннее движение на Хан-Тенгри!

Леван рассмеялся.

— Слушай, Женя, ты не знаешь, из грузин никто не был на Хан-Тенгри?

— Радуйся, ты первый.

— А из киргизов?

— Поздравь Мамасалы Сабирова.

Связки разошлись, затерялись среди скал и снега. Тут каждый был в чем-то первый и все вместе они были первыми, кто шел на штурм Хан-Тенгри, уже имея за спиной восемнадцать дней траверса на шеститысячной высоте. И всего лишь одну дневку. Но уж они-то сумели ее использовать, и отъелись, и отпились чаю, и отогрелись. Зима стала чувствоваться со склонов пика Чапаева, а на Хан-Тенгри она свирепствовала уже вовсю. Но все были здоровы, чувствовали себя хорошо и к финишу шли так уверенно и надежно, как им не шлось и в самые первые дни.

Хан-Тенгри даже разочаровал их. Снизу он казался строго ограненным монолитом, здесь же, на западном гребне, он обратился в дымящийся снегом хаос сильно разрушенных и сыпучих скал. Камни летели из-под ног, из-под веревок, в нескольких местах пробило оставленную на ночевку палатку. И все-таки это были скалы, и в них можно было бить крючья, за них можно было браться руками, стоять на них, не ожидая никакой каверзы. Это была технически сложная вершина, обычная пятерка, да еще поднятая на семикилометровую высоту. Но и только. Было непросто. Было очень холодно. Но они чувствовали, что все проблемы траверса решены ими там, к западу от перемычки, а теперь оставалось разве что поставить точку. Легендарный Хан-Тенгри со спуском к базовому лагерю, к слиянию Звездочки и Иныльчека занял

у них всего лишь три дня. И это вновь возвращало их мысли к тем восемнадцати дням, ценой которых и было пройдено иззубренное лезвие хребта Тенгри-Таг. Восемнадцать и три. И еще четыре, чтобы со всем снаряжением на плечах и теперь уж вконец без продуктов промерить на своих двоих всю долину Иныльчека, до Майда-Адыра, до машины, где, опять-таки, с букетами цветов их никто не ждал. Что и говорить, после трех недель высотного траверса эта пешая прогулочка длиной в добрую сотню километров — снова через весь ледник, по моренам, по валунным россыпям, по галечниковым косам, вброд через Иныльчек и все его притоки — вполне могла показаться излишней. Такою она альпинистам и показалась.

Свое восхождение они посвятили памяти Афанасия Шубина. Сюда, под Хан-Тенгри,он стремился когда-то не ради восхождения — старший инструктор плохо переносил большие высоты. Он шел сюда только ради того, чтобы увидеть легендарную вершину, написать ее, прийти к замыслам и образам новых работ, где опять-таки будут горы и восхождения, синие ледовые трещины и люди, настырно идущие к цели сквозь снег и ветер Тянь-Шаня.

Во время дневки, вооружившись лавинными щупами, ребята пытались найти свою давнюю заброску. Сами же оставляли, и Стрельцов, и Балинский, и Слепухин, но так и не нашли. То ли она сползла с гребня вместе со льдом. То ли глубоко ушла в снег за эти годы, благо его здесь валит предостаточно, и сверху, и с боков, да еще и снизу задувает, с ледника Семеновского, по которому шальные от счастья они буквально скатились вниз, к базовому лагерю, на ледник Южный Иныльчек.

Словом, не дождалась заброска своих хозяев. А они не обманули, пришли.

СЫРТЫ

■

За перевалом Джалак-Бель дорога стала и вовсе неважной. Она вдруг разбрелась, расслоилась, как распущенный на пряди аркан, и трудно было понять, по каким признакам Будайчи выбирал ту колею, а не эту, почему отдавал предпочтение давнему следу, шедшему через склон, а не свежему, только перед нами проторенному по дну ровной, мягко изгибающейся лощины. Быстро темнело, однообразные увалы холмистой гряды сливались воедино, они стали угадываться лишь по редким, тонким пунктирам снежных наметов, кое-где, с подветренной стороны зацепившихся за промерзшую дернину. Снова пошел снег, только теперь он был злей, с ветром, и когда Будайчи открывал дверцу, чтобы, стоя на подножке и держась за руль, глянуть по своей привычке назад, в кабине тотчас делалось так же неприкаянно, промозгло, как и вокруг. Иногда он глушил двигатель, спрыгивал на землю, усердно пинал скаты крепким кирзовым сапожком и подолгу простаивал у заднего борта, озабоченно вглядываясь в темень и снег.

— Подождем, а? Нет Усатого. Он туда поедет, мы сюда, что делать будем, нельзя ехать!

Там, куда он смотрит, наконец, обозначилось желтое, прерывисто светящееся пятно. Свет пробирающейся в глубине гор машины медленно всплыл по дальнему склону, затем — по ближнему, и вот — полыхнул в глаза. Будайчи облегченно засмеялся, вспрыгнул на подножку. Снова накатывает на нас блаженное тепло от распалившегося на подъемах мотора, снова слышится негромкий, но под внешним спокойствием напористый, темпераментный говорок. Я слушаю не то исповедь, не то размышление, ни на что однако не претендующее, даже на мое внимание — внимание одного — единственного слушателя, совершенно случайно оказавшегося в кабине этой машины. Мне даже кажется, что если, разморенный теплом, усталостью и бесконечной тряской, я в конце концов самым беспардонным образом усну,— он все равно будет говорить, хотя бы самому себе. Человеку надо выговориться. Такая необходимость приходит подчас к самым закоренелым молчунам. И тогда безразлично, кто рядом с тобой, слушает ли он тебя. В такие минуты люди говорят с лошадьми, с фотографиями и надгробьями, с небом и ночью, с низкой, первой попавшейся на глаза звездой, едва проклюнувшейся над дорогой сквозь облачную хмарь.

— Он говорит, дай на пол-банки — вытащу. Не дашь — будешь сидеть, раз ты такой. Я говорю, а ты какой? Этот бульдозер чей? Бульдозер государственный. Моя машина тоже государственная. Я почему должен платить? Я комбикорм везу. Я на работе. Ты на работе. Ты меня должен вытащить. Пол-банки не будет.

Он говорит, не будет — тогда сиди. Хочу вытащу — хочу нет. Рабочий день кончился. Я человек рабочий. Конституцию знаешь?

Я говорю, ты не рабочий человек, ты бандит. Хуже бандита. Вот три рубля — лучше порву, чем те-

бе дам. Ладно. Две грабарки есть — будем копать. Я беру лопату. Усатый берет лопату. Ничего, вдвоем вылезем. Одному плохо.

— Одному плохо,— повторил Будайчи через несколько минут и снова умолк. Но не надолго. Не знаю, как прозвучал бы его рассказ где-нибудь там, в селе Боконбаевском, центральной усадьбе крупнейшего в Прииссыккулье колхоза имени Ленина, в теплом доме за чашкой зеленого чая, или еще дальше, в Пржевальске, во Фрунзе, среди асфальтовых улиц и занятых, бегущих по своим делам людей, но здесь, средь зимних тонских сыртов, среди студеных, обдутых до черна, до заиндевелого камня безлюдных гор, где на десятки километров ни единого человеческого жилья, ни единого огонька, на скверной дороге, где благополучие твое, а то и жизнь зависят от того, насколько надежна или ненадежна машина — здесь все то, о чем рассказывал Будайчи, представлялось столь значительным и так живо, будто сам видел все это, сам пережил.

— Я говорю, у него машина неисправная, вы вместе ехали, как же вы своего товарища оставили? Кругом снег, горы, он что будет делать? У него тоже жена есть, дети есть, он тоже заработать должен и вернуться домой. Может, завтра ты сломаешься, тебе кто поможет? Так нельзя, я говорю. Надо помогать друг другу. Ты человек, он человек, почему товарища бросили?

Они говорят, ты нам мозги не компостируй, понял? Семеро одного не ждут. Ничего с ним не будет. Починится, поедет. Всем зачем мерзнуть? Давай выпьем, согреемся, отдыхать будем.

Я говорю, я водку не пью. И Усатый не пьет. Вам тоже не надо пить, говорю. Хуже будет, уснешь, радиатор разморозишь, что делать будешь?

Они говорят, ты какой шофер? Ты не мужик. Ты баба. Водку не пьешь, с товарищами не гуляешь.

Ладно, говорю, посмотрим, кто баба.

Мы с Усатым поехали, они остались. Мороз очень сильный был. У них водка в кузове стояла — совсем замерзла, белая стала, как снег. Мы приехали в Арчалы, разгрузились, накладные оформили, переночевали, утром обратно пошли. Кара-Саз проезжаем, смотрю — пять машин стоят. Как стояли, так и стоят. Хотел спросить, кто баба — не у кого спрашивать. Машины разморозили и бросили. На попутной уехали. Больше тех шоферов я на Арчалы не видел. Даже летом.

— Эй, сырты зачем зимой смотреть,— неожиданно оживился Будайчи,— летом надо. Летом — трава, солнце — хорошо! В одну юрту войдешь — кумыс, в другую — айран, каймак. С горы смотришь — везде бараны пасутся, палатки стоят. Народу много, машин много, автолавки, артисты приезжают, в культцентре каждый день кино есть...

Я молчал. Я был летом на сыртах. Просто мне, наверное, не повезло с погодой, и потому тех лубочных картин, которые с удовольствием живописал передо мной Будайчи, я не видел. Помню только надоевшую морось холодных, вперемежку со снегом шедших дождей, сырые палатки, сырые одеяла, сырую вату тяжелых, низко волочившихся по сланцевым склонам туч, серебряные, колючие, поникшие от влаги кусты тюе-куйрюка, едкий дым сырого кизяка, отлакированные дождем спины понуро мокнущих у коновязи лошадей, ржавую хлябь приречного саза, где прочно, по раму, сидел тот самый вездеход, которого в те дни мы так ждали...

Помню туристов. Откуда они забрели к самым верховьям Арабеля, а значит, и Нарына, я не знаю. Они гордо, словно не заметив, прошли мимо наших палаток, и под носами их эдакими сережками светились дождевые капли. Во всем остальном парни выглядели

вполне мужественно. Как и положено землепроходцам, каждый был при бороде, при большом ноже, что, впрочем, было вполне понятно. Не по Невскому же, в конце концов, они прогуливаются, не по Калининскому проспекту — по Центральному Тянь-Шаню! Чабанов помню, их лица, они с участием глядели на шлепавшую под дождем группу, и вид у чабанов был далеко не мужественным. Да и как выглядеть мужественно с годовалым сынишкой на руках? Ни эмблем никаких. Ни надписей вкривь и вкось по штормовкам с указанием Памира, Алтая, Тянь-Шаня, Кавказа и прочая и прочая. Ни ножей. Ни даже бород. Чабаны были гладко выбриты. Впрочем, и это тоже вполне понятно. Они дома. Они на работе. Вокруг обычная, нормальная для них обстановка, а людям в нормальной обстановке свойственно следить за собой...

— Эй, летом любой шофер на Арчалы поедет,— продолжал тем временем Будайчи,— даже сам просится. Сейчас начальник говорит — никто в глаза не смотрит. У одного — жена болеет. У другого — бензонасос полетел. Начальник спрашивает: Эй, Будайчи, у тебя тоже жена болеет? — Нет, говорю, не болеет. — Бензонасос не полетел? — спрашивает начальник. — Нет, говорю, не полетел. — Ну что, поедешь в Арчалы? — Если Усатый поедет — я поеду.— Э, Турдаке,— говорит начальник,— ты поедешь в Арчалы? — Будайчи поедет — я тоже поеду, говорит Усатый. Начальник смеется. Мы тоже смеемся. Я говорю, ну что будем делать, раз надо — мы поедем, черт с ним. — Черт с ним, говорит Усатый.

Мы поехали. Триста двадцать километров туда, триста двадцать — обратно. Мы соль везли. Домик дормастера видел? Зимой там никто не живет. Только проехали — смотрю: Усатый остановился. Жду, жду его, стоит. Я назад. — Что случилось? Усатый молчит. Туда сюда, ах, черт, двигатель застучал! Ну что будем

делать? Усатый говорит, давай разгружаться, поедем назад. Я говорю, до весны от соли что останется, кто накладные подпишет? Нет, раз взялись, надо доставить. Черт с ним, на одной машине поедем, разгрузимся — вернемся еще раз. Черт с ним, говорит Усатый, давай сделаем так. Ну, мы поехали. Как раз только до этого места добрались — туман, снег, ничего не видно. Снегу много, под самый бампер, а чуть свернешь — совсем не вылезешь. Ну что делать будем? Нельзя ехать. Я говорю, давай я впереди пойду, дорогу показывать буду, а ты за руль садись. Я пошел впереди, Усатый на первой скорости за мной едет. Сколько прошел, не знаю. Совсем ноги не идут. Я говорю, не могу идти, что делать будем? Усатый говорит, давай ты за руль садись, я пойду впереди. Опять мы поехали, туман совсем густой стал. Смотрю — Усатый в снег сел, дышит плохо, лицо мокрое, говорит, что делать будем, совсем идти не могу. Я говорю, давай ты за руль садись, теперь я впереди пойду. Он сел, мы поехали. Обычно на арчалинский рейс два дня надо. Мы восемь дней ездили, на автобазу вернулись — все нормально. Кто не ездил — живой ходит. Мы ездили — тоже живые. Но мы где были, на Арчалы! А они — нет.

Будайчи засмеялся. Он искоса глянул на меня, проверяя, дошел ли до меня смысл его странных слов, а сам, открыв дверцу, полез из кабины смотреть, где он там, Усатый, чего отстал. А я едва устоял перед искушением тут же, наощупь записать где-нибудь эти неожиданные, как открытие, слова, до зависти просто передавшие суть великого противостояния людей. Они живые и мы живые. И каждому отведено на земле, в общем-то, одно и то же время, один и тот же недолгий человеческий век. Что-то успеешь ты, на что решишься? Они живые, и мы живые. Но они вон где были, вон что сделали, а ты — нет...

Так мы приближались к Болгарту. Река была еще не видна, ее укрывал высокий уступ холмогорья, среди которого мы так долго тряслись, и которое теперь почти совсем отступило, открывая туманные пространства зимних пастбищ. Где-то посредине, на дне этого сизого, распластанного среди гор омута просверкнули несколько острых, живых огоньков. И хотя они тотчас пропали, закрывшись каким-то невидимым во тьме холмом — было ясно: скоро приедем. Оставались сущие пустяки — спуститься к мосту. Узкая ухабистая дорога вывела нас на обрыв и нырнула вниз. Будайчи переключил скорость.

— Взрывали, что ли? — Будайчи был хмур и насторожен. — Тогда почему знака нет?

И без того узкая, с наклоном к обрыву дорога была завалена свежевывороченными глыбами грунта и валунами. Но впереди четко виднелся след какой-то отчаянной, раньше нас проскочившей здесь машины, а как известно, там, где проехала одна машина, там уже дорога. Теперь мы не ехали, мы просто сползали вниз по сыпучему откосу, пока не уперлись в горб завала, сравнявшего уступ дороги вровень со склоном. Будайчи выбрался из кабины, то и дело оступаясь, обошел вокруг, заглянул под колеса, прошел вперед, докуда доставал свет фар, и удрученно повернул назад.

— Это газик был! Он тоже не проехал. Видишь, назад сдавал. А мы как сдадим? Мы груженые. Почему люди так делают? Если б один раз бульдозер прошел — мы бы тоже прошли. Нет бульдозера — зачем взрывать? Ладно, взорвали. Знак можно поставить? Один — два камня можно положить? Дорожники что, себе дорогу делают? Что, на земле только они и есть, больше никого?

Будайчи сунул руки в карманы брюк, сплюнул под ноги, поддал сапогом по льдистой глыбе грязного снега.

— Говорят, мы же строим дорогу! Новую, хорошую, что вы хотите! Машину не угробить хочу! Себя не угробить! Старая, новая, а между ними как? Я не птица, по воздуху не летаю. Научусь — пожалуйста. Сейчас шею сверну — кто по этой новой дороге ездить будет? Что, трудно объезд сделать? Знак трудно...

— Эй, хватит, а? Будайчи!

Я оглянулся. Возле заднего ската полулежал неизвестно откуда взявшийся Усатый, флегматично ковыряя грунт под самым дифером. С такой вольготной небрежностью можно расположиться разве что на старом диване, с сигаретой, а не с лопатой в руке. Мы подошли к Усатому. На нем была вельветовая куртка, вельветовый жилет, рубашка тоже была чуть ли не вельветовой, и весь он со своими мягко обвисшими усами был какой-то мягкий, степенный — полная противоположность угловатому и взрывчатому Будайчи. Лежа на мерзлой, полузанесенной снежком земле, он как ни в чем не бывало выковыривал из-под заднего моста нашей машины большой валун и теперь просил, чтобы Будайчи тронул немного вперед. Усатого звали Турдакулом Бектуровым. Впоследствии я узнал, что Бектурову — за пятьдесят, что Будайчи Намазбаев — чуть помоложе, годов на пять, что на сырты ездят полтора десятка лет, и только вместе. Так что если на тяньшанских дорогах попадется вам на глаза грузовик 38-65, оглянитесь, где-то рядом и 38—66.

Сейчас «шестьдесят шестой» торчал над злополучным спуском, вытаращив фары на своего собрата, оказавшегося в столь незавидном положении. Досада, что не скоро теперь удастся добраться до культцентра, до жилья — сменилась тревогой за машину — как бы не опрокинулась. Колеса буксовали, соскальзывали в сторону обрыва, мы то и дело подсовывали камни, рыли, швыряли землю, а Будайчи как к зубной боли прислушивался к резкому, скрежещущему звуку, которым не-

ожиданно стало сопровождаться каждое переключение скоростей. И когда мы все же выбрались наверх, когда, теперь уже средь совершеннейшего бездорожья и темени, принялись отыскивать хоть мало-мальски пологий распадок, по которому можно было бы спуститься к мосту через Болгарт,—Будайчи все молчал, все вслушивался, и каждый новый скрежет омрачал его все больше и больше. Наверное, поэтому, едва мост остался позади, он свернул к стоящей неподалеку чабанской палатке и, хотя до культцентра оставалось всего несколько километров, выключил зажигание. Молча спустил воду из радиатора, уверенно, как к себе домой, прошел на огонь, сел у очага. Сунул руки в карманы спецовки, вытащил неожиданно для всех оказавшиеся там два огромных краснобоких яблока — хозяйским детишкам, вынырнувшим на шум из-под одеял, и, скрестив ноги, с силой провел ладонями по лицу.

* * *

Проснувшись, высунув голову наружу, я тотчас же получил щедрую порцию снега, рухнувшего с полога прямо за шиворот. Вокруг была мягкая, белая зима. На кабинах громоздились пышные папахи сугробов, и Будайчи с Турдаке хлопотали возле машин, сбрасывая снег и протирая стекла. Я и не слышал, а они несколько раз за ночь вставали прогревать двигатели, так что теперь машины сразу же завелись. Можно было ехать. Оставалось разве что проститься с хозяином очень кстати оказавшейся на нашем пути палатки, да бросить взгляд на тот берег, на гористый спуск к реке, где мы чуть-чуть не заночевали.

Теперь впереди ехал Усатый. Он то и дело останавливался, потому что Будайчи вел машину буквально не дыша, будто скрежетало не в железных потрохах

«Уралаза», а в нем самом. Дымки Арчалы приближались так медленно и нехотя, что, словно не выдержав, когда мы, наконец, подъедем, из культцентра выкатил желтый газик, и через две минуты с нами здоровался невысокий энергичный человек, председатель колхоза имени Ленина Ишен Тойчубеков. Он не был начальством для автобазовских шоферов, но по тому, как подобрались и Будайчи, и Турдаке — было видно: председателя уважали.

— Уголь в больницу?

— Уголь,— отозвался хмурый Будайчи. — Сейчас разгрузимся и домой.

— Как домой,— рассмеялся председатель.— Не узнаю тебя, Будайчи. Видишь снег? Серьезное предупреждение. Ты уедешь, он уедет, кто ж сено будет возить? Чабаны ждут. Хоть два рейса сделай, а? На Джиланач?

— Сцепление у меня...— поскучнел Будайчи.

— А, сцепление? Понятно. — Улыбка на лице Тойчубекова потухла.— Что еще? Бензонасос?

— Я говорю, сцепление барахлит,— упрямо повторил Будайчи. Он отвернулся, зачем-то пошел вокруг машины, пиная мокрые от снега скаты. Сделав круг, он снова остановился перед председателем.

— Если Усатый поедет, я тоже поеду.

Тойчубеков перевел взгляд на Турдаке.

— А, Турдаке, сколько лет выручал, выручишь?

— Черт с ним,— сказал Турдаке,— если Будайчи поедет, я тоже поеду. Только посмотрим, что с машиной.

Мне нужен был Тойчубеков. Я вытащил из кабины свою дорожную сумку, хлопнул дверцей. Думал, приедем, спокойно посидим с Будайчи, в свое удовольствие будем говорить обо всем том, о чем некогда было говорить вчера, ан нет, время вышло, а теперь надо прощаться. Будайчи махнул рукой, включил зажига-

ние, «шестьдесят пятый» медленно двинулся вслед за «шестьдесят шестым», оставляя широкую, черную колею на еще никем не тореной зимней дороге.

— Мы что будем делать? Нельзя ехать. Черт с ним, поедем...

* * *

Собственно, мне нужен был не Тойчубеков. Мне надо было, чтобы он свел меня с Имашем Базаровым, помог его найти.

— Это трудно,— сказал Тойчубеков, но тут же рассмеялся,— вон, в машине сидит, знакомьтесь!

Вовремя я прибыл. Еще бы немного, и ищи ветра в поле. Председатель и бригадир едут смотреть, что делается на зимовках бригады, и, если гостю интересно— что ж, место в «газике» найдется. Сначала они проедут в Телек. На обратном пути завернут в Джарылму и Молдо-Баши. В тех местах строители поставили несколько кошар, и надо еще раз поглядеть, по-хозяйски ли все сделано. Теперь в бригаде будет полтора десятка новых зимовок, не так мало. Совсем недавно здесь, на сыртах, они вообще ничего не имели, кроме сложенных из рубленого кизяка загонов — короо с вечно разваливающимися стенками да землянок из дерна, которые, кстати, тоже казались когда-то сносным жильем. Теперь председатель называет их «берлогами». Председатель говорит, что с «берлогами» почти покончено. Теперь надо покончить с этим «почти». Хотелось бы скорей, да, видно, не получится. Колхоз осилит, деньги есть — строители не поспевают. Да и высоко, далеко все это — триста двадцать километров от центральной усадьбы, если ехать машиной, вкруговую, через Рыбачье и Кочкорку. Напрямик немного быстрее. За семь часов можно добраться, если пуститься

прямо через Терскей, по тропе, через четырехкилометровый перевал Тон. Но это верхом. А это не новость. Едешь по сыртам — то цепочка курганов замаячит, то ржавым пятном затлеет в приземистой альпийской травке круглая кладка замшелых речных валунов — древний могильник. Испокон веков кочевали люди по тонским сыртам. А вот обживают — впервые.

Арчалы — место привольное, две долины сливаются. Пока быстро не пройдешься, пока не задохнешься от разряженности, студености и чистоты здешнего воздуха, едва ли и подумаешь, что оказался на трех тысячах метров над уровнем моря, что это и есть знаменитый тяньшанский сырт. Нет тебе никакой высокогорной экзотики, все просто, буднично, как могут быть будничны просторный хозяйственный двор, склады, дизельная, стригальный пункт. Чуть дальше — больница, магазин, несколько жилых домов, радиорубка. Это столица, культцентр. Чабаны — они еще дальше, в том же Телеке, в Джарылме, в Молдо-Баши. Да и сам он, Имаш Базаров, предпочитает больше быть в Джиланаче, хотя теперь в Арчалах у него есть многокомнатная квартира. В Джиланаче — к чабанам ближе и, откровенно говоря, ниже. Значит, теплей. А он так намерзся на своем веку, что и о тепле не грех подумать. Хотя бы о таком. Когда случается приезжать во Фрунзе и у него начинают спрашивать, как там погода на Иссык-Куле, как вода, песок, вообще купание — он не сразу и находит, что ответить. Это только так считается, что он иссык-кульский; он видит озеро раз в месяц, когда спускается в колхоз, в Боконбаево с очередным отчетом, да еще если вдруг с высот Терскея, сквозь сетку больно бьющей в глаза снежной крупы, взгляду удастся дотянуться до раскаленных прииссыккульских предгорий, до жгучей в глубине и туманной, размытой по краям необъятной озерной лазури... Вот, собственно, и весь его купальный сезон.

Он человек сыртов. И прожил на сыртах ровно двадцать пять лет. Шахтерам подземный стаж засчитывают, ну а у него — надземный! Давно имеет он все основания устроить по этому поводу юбилейные торжества, да так и не собрался. Отзимовав в двадцать пятый раз, пошел просить перевода вниз, на центральную усадьбу, впервые жалуясь на годы и здоровье.

— Ты много дал сыртам, Имаке,— только и сказал председатель,— если ты думаешь, что сделано все, что надо бы сделать, тогда...

...Сидит, согнувшись в три погибели, пряча худое пергаментное лицо в отвороты куртки из коричневого вельвета. Куртка подбита мехом, она просторна и мягка, она скрадывает очертанья его громоздкого тела, неловко притулившегося на крохотном по сравнению с ним боковом сиденьице председательского газика. Председатель сидит бочком, он весел и оживлен, может чуточку слишком оживлен, как слишком молчалив, слишком прячет лицо в свою теплую куртку нависший над его плечом бригадир. Ничуть не похожие друг на друга, они скорее всего думали в эти минуты об одном и том же, скрывая свое состояние кто как умел. Они просто не могли сейчас об этом не думать. Снег на сыртах не в диковинку, он может мимоходом припугнуть и в августе, и в любой день сентября, но снег, по которому они сейчас ехали, был совсем иным. Этот, судя по всему, уже не стает. Этот может только прибавляться. Это был снег до весны.

Студентам, говорят, всегда одного дня не хватает. Вот и они, как вечные студенты; несколько лишних дней им никак бы не помешали. Конечно, кое-что приготовлено, прошлый год выучил, в прошлом году они действительно дали маху, хотя вроде бы все было сделано как нужно. Заключили договор с машинно-животноводческой станцией, отдали ей поливные сенокосы. Как удобно! Станция и вырастит, и уберет, и доставит.

А снег возьми да и выпади вне расписания, и убирать станции стало нечего. А потом еще снег, а потом ливень, да такой, каких и летом не было, на всю ночь; в загонах — настоящий потоп. А потом мороз. Все сковало ледяным панцирем, все, даже южные склоны, на которые обычно возлагаются последние надежды. И снег, снег, до самой весны. В прежние времена в такой ситуации обычно начинался джут. Джут — это когда овцы едят друг на дружке шерсть, а чабаны топят шкурами павших животных. До революции в джут гибли не только овцы. Я читал об этом в этнографических трудах большого знатока Семиречья, народника по убеждениям, врача по профессии Федора Владимировича Пояркова, жившего в Киргизии в конце прошлого века.

— Но более других своих собратьев страдали киргизы, жившие в принарынских волостях: им особенно приходилось жутко,— писал Поярков,— не занимаясь почти нисколько посевом, живя же исключительно скотоводством, они обыкновенно в начале, а иногда и в середине осени отправлялись за покупкою хлеба в другие хлебородные места, главным же образом в селение Токмак, но на этот раз не успели.., так как глубоким снегом завалило все проходы, и бедные киргизы оказались крепко запертыми в своих узких долинах. Вскоре они поняли весь ужас своего положения; но парализованные постигшим их бедствием, они не в состоянии были помочь сами себе, а другие, более счастливые, совсем не знали об их тяжелом положении, вследствие отдаленности и невозможности проникнуть к ним за отсутствием в такое время года каких бы то ни было путей и средств сообщения... Одно несчастье обыкновенно влечет за собой другое, так было и в данном случае... За падежом скота скоро обнаружился недостаток в хлебе.., затем скоро появился недостаток и в топливе.., оно оказалось погребен-

ным под толстым слоем льда и сверх того покрытым глубоким снегом... Тщетно плакали и взывали эти люди о помощи, а беспрестанно господствовавшие вьюги и снежные бураны точно еще более старались заглушить постигшее их бедствие, чтобы никто не слышал ни жалобных стонов животных, ни раздирающих душу людских воплей...

* * *

У них джута не было. Но несколько дней овцы проскучали. Потом сквозь снег стали пробиваться первые бульдозеры, первые машины. Дышать стало полегче. Появилась надежда, что выстоят. Все же это что-то значит, если люди проработали на сыртах по пятнадцать, по двадцать, по тридцать лет. Это очень много значит, когда знаешь, что о тебе не забыли.

Толен Исаков зимовал в урочище Джарылма. Морозы стояли такие, что у валушков хвосты, копытца отмерзали, а кончик носа был воспален до такой степени, что животные уже не могли тебеневать. Что мог сделать чабан, имея в своем распоряжении лишь открытый загон? Смог, сберег отару, вьюком возил воду во флягах из полузамерзшей речки, грел на огне, отпаивая ослабевших животных, выхаживая их почти на руках.

Токтомамбет Кабаев стоял, как всегда, в урочище Уч-Отек. Обычно бесснежные, склоны были на этот раз в белом панцире толщиной до восьмидесяти сантиметров. Снег был сдут лишь на самых макушках, там Токтомамбет и отсиживался со своей отарой, спускаясь вниз лишь для того, чтобы подкормить овец концентратом.

В верховьях Арчалы зимовали Асаналы Токтосунов и его жена Кульнара. Хвалиться нечем, им обоим потом попало, но факт остается фактом: настолько

верны были люди своему делу, неотлучно, дни и ночи проводя возле овец, что Кульнара, дохаживавшая последние дни, так возле отары и родила, хотя должна была вовремя уехать в культцентр, в больницу.

Так они дожили до весны. В конце лета отары выправились, и к сдаче девяносто пять из каждой сотни овец были высшей упитанности. Словом, план перекрыли с лихвой, только шерсть не додали. Не проходят бесследно такие зимы, и, значит, нечего кивать на объективные трудности, надо просто рассчитывать именно на них. И вот рассчитывают. Отобрали, отправили вниз всех ослабевших животных, завезли к каждой кошаре первые тонны страховочных кормов. Кошары еще пустые, отары только подойдут к ним с осенних пастбищ, а запас на первое время лежит. Даже в Телеке, где кошара еще не принята от строителей, пара машин прессованного сена уже есть. Сейчас они это увидят. А если тронуть председателя за плечо и попросить минутку тишины — можно услышать, как в отдалении натужно ревут тяжело груженные машины — это везут концентраты, соль, все то, что значится в рационах.

— Его отец Базар Токомбаев кто был? Простой чабан, вся жизнь — овцы да сырты. Да и сам Имаш у него в подпасках сколько лет бегал, куда проще! А посмотрите, не так-то прост Имаке. Помните, хетты? У древних хеттов, оказывается, нос большое значение имел. На положение в обществе влиял, оказывается. Вот и у нашего Имаке орлиный, прямо-таки княжеский нос! Что княжеский! Бригадир вообще любого князя по всем показателям за пояс заткнет. Это только так называется — третья комплексная бригада. Скромно, да? А если по площади, так у Имаша в распоряжении раз в десять больше территории, чем у республики Сан-Марино, княжеств Монако и Лихтенштейн, вместе взятых!

Все засмеялись, рассмеялся и Ишен Тойчубеков, удостоверившись, что шутка вроде бы удалась. Искрящиеся мягким юморком глаза председателя то и дело поблескивали теперь из-под припухших век, словно проверяя, насколько точно ложатся стрелы его добродушных и непритязательных острот. Стрелы ложились довольно густо. И бригадир только покряхтывал. В молодости, может, и задело бы что, так он не молод, какникак с восемнадцатого года, да и чувством юмора вроде бы не обижен. Ладно,— веяло от его могучей фигуры,— резвитесь, чего там, меня от этого не убудет, я вон какой!

— Знаменитая личность, наш Имаке,— развивал тем временем свой успех Ишен Тойчубеков,— табунщиком работал — коня за хвост мог удержать. Ооадрыш начнется — ни один джигит не усидит в седле, если против него выйдет Имаш Базаров. Всеобщий любимец! Какие песни ему девушки посвящали! Какие песни он девушкам посвящал! В культцентре видели у Базарова сейф стоит! Думаете там документы хранятся? Ничего подобного! Там он свои стихи прячет. Толстая тетрадка! Он, знаете ли, в духе Есенина пишет. Интимная лирика. Я за точность перевода не поручусь, но, в общем, стихи у Имаке звучат так:

«На дальней горе дикие козы пасутся.
— Милые девушки,
почему вы так
неприступны?»

Теперь смеялся и бригадир, уткнувшись лицом в ушанку, которую он обеими руками стащил со своей крупной, наголо остриженной головы. Нет, молодец председатель, вот они едут, и вокруг только снег и белая мгла тумана, и неясные пятна скал на неизвестно где проходящей границе неба и земли, и на душе тревожное сознание того, что вот снова началась зимовка, и еще никто не знает, будет ли она легче или труд-

ней той, минувшей, а он, председатель, на плечах которого груз ровно втрое больше, чем у него, бригадира, настроен так по-мальчишески и озорно, что и небо кажется не таким уж зимним, и дорога — намного короче и веселей. А дорога вот она, белая-белая, белая колея по всему Джиланачу, до самого Телека. По краям дороги и вокруг сквозь белизну еще кое-как сквозит желтый пушок ковыля и бетеге, но дорога, еще никем в это утро не хоженная и не езженная и лишь угадываемая под снегом, чиста безукоризненно, и эта ее нетронутость была беспощадной. В самом деле, ты, может быть, сотни, тысячи раз одолевал эти километры, сам проложил, сам наездил в неуютных пространствах и распадках сыртов ее ленту-колею — сейчас все это ровным счетом ничего не значило. Страница чиста. Все нужно начинать сызнова, и каждый раз от того, что было сделано прежде, сегодня работалось ничуть не проще, а скидок, поблажек каких-то за прошлые заслуги и вовсе ожидать не приходилось. Наоборот. Кому-то, может, и простится иная оплошность или неудача, а тебе нет, ты не имеешь права на эту роскошь, у тебя орден Ленина, звезда Героя, тебя выбирают в президиумы и посылают на совещания — ого, какой ты большой, уважаемый человек, батыр, вот с тебя и спрос.

— Думаете, бригадир о чем молчит? Думаете, о чем-то возвышенном мечтает? Откровенно скажу. Он к председательской машине примеривается. Я вот боюсь: остановит Имаке машину, ключи потребует, скажет — обещали, товарищ Тойчубеков, газик для сыртов отдать, так, может, здесь и сойдете? Честное слово, боюсь! Имаке человек дела, откроет дверцу, подождет, пока я вылезу, да и скажет: благодарю за внимание!

Снова хохот. Словно от неожиданности, газик юзом скользнул вниз по склону, заставив невольно прику-

сить языки. Досмеялись, когда, дрожа от напряжения, машина вновь выкарабкалась наверх, прожигая бешено буксующими колесами жирную, размазанную колею. Но и здесь, на старой колее, машину то и дело заносило, иногда она и вовсе шла бочком, как норовистая лошадь, потому что дороги, в общепринятом смысле, здесь не было, а то, что не представляло особых трудностей летом, совсем иначе выглядело сейчас, то есть уже зимой.

И все-таки они ехали и, значит, будут в Телеке куда раньше, если б скажем он отправился на своем Рыжем, даже выбрав наикратчайшую из всех существующих туда троп. Когда-то он просто бы рассмеялся, если б ему пообещали в самом скором будущем автомобильную прогулку в Телек, да еще с такой невообразимой целью — принимать от Межколхозстроя кошару навесного типа с двумя тепляками, подсобными помещениями, домиком чабана под шифером и даже уборной, построенной чуть поодаль, по всем правилам санитарии и гигиены. Уборная в Телеке — это рассмешило бы еще больше, впрочем, о таких фантастических вещах вообще разговоров тогда не возникало, даже в шутку. В те годы, когда, схватив за хвост, он запросто мог остановить скачущего коня, у них не было подчас даже креолина, и он, чтобы спасти животных от чесотки, вынужден был заниматься сухой перегонкой помета, извлекая едкую по своим свойствам вытяжку — кыймай, в которой и умудрялись купать овец. А еще он купал овец в сероводородных источниках Джилусу, заслужив похвалу за находчивость и инициативу. Тогда это было выходом из положения. Сейчас, когда на ключах появились постройки межколхозного курорта — об этом даже вспоминать неловко, о той бедности, хотя ходили по золотому дну...

Вообще-то председатель не зря насчет машины вспомнил. Был такой разговор. И не раз. А ведь ког-

да-то он, Имаш Базаров, и слушать бы не стал, если б здесь, в горах ему предложили сменить верного друга — коня на вот такую железную коробку с колесами, которая и проедет-то не везде. А он на коне — всюду. И все успеет, все сделает, да еще посмотрит на ходу, какая трава на каком склоне растет, куда скот гнать...

Машина ему нужна! Вот такая, как у председателя! Жаль ему теперь времени — день-деньской раскачиваться в седле, и только затем, чтобы добраться от одной зимовки — к другой. На машине это можно сделать буквально за два часа! Да еще и ветврача с собой прихватить, и зоотехника, а уж какая трава на каком склоне растет — так это он наизусть знает, и смотреть нечего. И ведь обещал председатель такую машину. И еще обещал грузовую, с передними ведущими, хотя, если разобраться, зачем зимой на сыртах одна машина, пусть даже с передним ведущим мостом? Две надо! Одна застрянет — другая вытащит! Вот тогда никакая зима страшна не будет!

А еще им вот что нужно в Арчалах — гостиницу выстроить! Да хорошую, на десять, на двадцать мест, чистую, теплую, чтоб все было, как положено, чтоб не бегать, не рыскать шоферу по знакомым, а то и незнакомым людям в поисках приюта на ночь — гостиница! А ведь думать надо не только о шоферах, но и о тех, кто их принимает! Кто спорит, гостеприимство в горах — обычай замечательный, да только все это ложится на плечи женщины, а у нее и так забот хватает, некогда лишний раз на детей глянуть. Людно становится на сыртах. И весь этот приезжий люд должны принимать у себя те несколько семей, что живут здесь постоянно. Конечно, они терпят, какой киргиз откажется принять у себя приезжего человека! Да только вот в чем дело, пришла пора строить гостиницу в Арчалах!

* * *

...Телек встретил ветром. Мы миновали развалины старых короо и оказались среди беленых стен, шиферных скатов, свежеструганных, пахнущих щепой и краской стоек и дверей. Туман приподнялся, кое-где его просто расшвыряло, стали видны пасмурные, черно-белые горы, от беспредельности и безжизненности которых пробирал стылый озноб. Председатель ходил с книжечкой по кошаре, скрупулезно отмечая то незатянутый гайкой анкер, то трещину или скол. Завтра он будет в районе и там уже не преминет сообщить строителям все то, что о них думает. Разминая ноги, бригадир прошел под навес, потрогал, словно удостоверяясь, тугие мешки ячменя, обошел со всех сторон похожий на игрушечный чабанский домик, по пути заглянув в кладовку, запертую на щепку. В кладовке он обнаружил груду одеял, шуб, старенькую берданку, мешок муки, прочий чабанский скарб. Где-то близко и хозяин. С нетерпением ждет своего дня. Была команда кочевать на места зимовок только с первого ноября, и вот люди ждут. Тылы подтянули, но сами — ни шагу, понимают, что пастбища, оставленные на зиму, надо беречь. Это нравится Имаке. Он довольно усмехается. Он возвращается к председателю, а тот стоит посреди просторного двора и смотрит на горы, забыв о записной книжке.

— Здорово,— кивнул он бригадиру. — Великая вещь! Ведь это Телек, Имаке! Сюда люди с вьюком не поднимались, теперь смотри — дом стоит. Дом на Телеке! А ведь каждый гвоздь привезен, и откуда! Вот мы ворчим: там дверь повело, там краска на полах жидковата — да черт с ним, в конце-то концов! Дом стоит, вот главное! Отсюда пойдем дальше, это плацдарм. Один древний мудрец сказал: дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Только он говорил — дайте. А ее нужно делать. Кто же ее даст?

ПОДНИМИ ПОДКОВУ

Теперь и не вспомнить, по какому поводу я впервые оказался на пржевальском ипподроме, да еще в будний, осенний день, когда рассчитывать на что-либо интересное явно не приходилось. Сквозь мокрый туман неясно проступали очертанья насупившихся предгорий, на дальнем конце поля конюхи в блестящих от дождя плащах неспешно прогуливали лошадей. Постоял, посмотрел на далеких всадников и совсем уж собрался было уходить, как прямо перед собой, в створе главного прохода увидел вроде бы обелиск, окруженный с трех других сторон переплетенными стволами дикого урюка. Посреди ипподромного поля, прямо перед главной трибуной — обелиск? Странный выбор, вот уже не сулит это место ни вечного покоя, ни кладбищенского благочестия. Можно представить, какой гул стоит над этим полем в дни скачек и конноспортивных игр, когда сюда съезжаются наездники чуть ли не со всего Прииссыккулья, когда на высокой мачте вспархивает и опадает шелковый флаг, а медный колокол одним-единственным ударом выстреливает в пространство целый колчан стрелоподобных, истомившихся в предстартовом ознобе скакунов! Обе-

лиск. Незамысловатый, цементный, с грубо отлитым барельефом, выкрашенным под бронзу. На барельефе — человек, укрощающий коня. Вокруг чугунная оградка, беленые тумбочки да впереди, перед обелиском — надгробная плита.

В. А. ПЯНОВСКИЙ
1872—1922

— Пяновский, кто это,— спросил я в домике дирекции, хотя имя это, конечно, слышал и раньше, хотя бы от тех же Ливотовых. Меня провели в соседнюю комнату. Там, на стене, в простенькой рамке я увидел фотографию средних лет человека в мундире штабс-капитана российской армии. Ежик с трудом зачесанных назад волос, строгие, коротко подстриженные усы, мягко, чуть навыкат глядящие глаза.

— А вы Петракову видели?

Обернулся и чуть не вздрогнул, так неожиданно здесь, над конторскими столами, чернильницами и счетами было увидеть большущий, чуть ли не в полный рост фотопортрет молодой женщины, застывшей в глубинах сумеречного стекла. Было в этом портрете что-то от картин Врубеля с их магической недосказанностью, странностью, демонической силой тайны и печали.

Затем я оказался в доме Семена Дмитриевича Панченко, где мне показали две небольшие акварели, заботливо вывешенные на самых видных местах. На одной из них была изображена голова белой арабской лошади; красная уздечка, сумрачный красноватый фон, рождающий тревожное томленье и ожиданье. На другой — смутное небо, неясно мятущиеся тени, а посредине — два насмерть схватившихся жеребца, чер-

ный и белый, взвившиеся на дыбы. Рисовала Петракова. От хозяев узнал, что несколько акварелей есть у Александры Александровны Ливотовой, и я тут же отправился по знакомому адресу. Принадлежавшие ей акварели оказались похуже, причем морды нарисованных там охотничьих собак имели эдакое «лошадиное» выражение.

Я сказал об этом Александре Александровне, и она улыбнулась. Оказывается, я не ошибся. Петракова рисовала только лошадей, а если она рисовала других животных — в их облике так или иначе, но проступали «лошадиные» черты. О, это была колоритная натура. Александра Александровна ее хорошо знала, вместе жили в Урюктах, не раз говорили по душам. Любила яркие ситцевые сарафаны, косынки, длинные косы. Комната ее была сплошь увешена акварелями. Не любила водиться с женщинами. Терпеть не могла их посиделок, их интересов и забот, семейных празднеств. Ей ничего не стоило прыгнуть на коне через стол, за которым в ожидании ее сидели принаряженные гости. Все время с лошадьми. С конюхами и жокеями. Голос зычный, громкий, выйдет на крыльцо и давай разнос устраивать, если заметит беспорядок; тут она не жалела ни себя, ни других. Когда кобылы жеребились — ночи напролет не выходила из денников, в ночь-полночь могла ворваться к соседям, поднимая всех на ноги перепуганно-ликующим криком: «Павел Иванович, Гортензия рожает!» Не жеребится, а «рожает»! Она все очеловечивала. Своей Лиане, если та ленилась на пробежке, вместо овса совала в морду кукиш и, не оглядываясь, рассерженно уходила, непримиримо вздернув голову.

— Что вы, она все прекрасно понимает!

Домоводством не занималась. Тут она была лентяйка и неумеха. Ездили однажды на пикник, все разбрелись, у костра оставили Петракову, которой было

поручено сварить добытую мужчинами дичь. Вечером сходится народ к костру, у огня сидит Петракова, читает книжку, а в котле кипят полуощипанные и невыпотрошенные фазаны. Долго потом все знакомые чуть что стращали своих детей: «Учись, а то сваришь курицу, как Елена Александровна, с перьями и облепихой!» В тот раз даже Пяновский разгневался, чуть было не запустил в Елену Александровну своей охотничьей сумкой. Необычная была эта пара, Пяновский и Петракова, он — рассудительный, серьезный, деликатный; ветер, порох и огонь — она. «Все дело в бабке,— говорила о себе то ли в шутку, то ли всерьез Петракова,— мать у меня рохля была, шляпа, а бабка — черт в юбке! Так я в бабку!»

* * *

Никуда не ушел, не уехал, пока не выслушал все то, что можно было услышать. Потом, забыв о времени и срочных делах, засел у Белоусовой, угадывая за полувековой сухомятиной всяческих прошений и ходатайств прекрасную повесть о мужчине и женщине, объединенных не только взаимным чувством, но и той страстью призвания, которому они оставались верны в самые беспросветные минуты отчаянья и потерь.

...В один из июньских вечеров 1907 года исчезла дочь генерала Петракова, командира расквартированной в Ташкенте артиллерийской части. Уехала на прогулку и не вернулась. Поначалу никто на это не обратил внимания, поскольку длительные верховые отлучки Елены Александровны были не в диковинку для ее родных. Привыкнуть только к ним не могли. Все-таки людям их круга следует отдавать себе отчет в

том, как они выглядят со стороны. И ведь не девочка — двадцать пять лет, сколько можно отказываться от самых достойных партий, днем и ночью, как заправский жокей пропадая на конюшнях. Яркая, цыганистая внешность, живой, своенравный характер, острый ум, умение рисовать, одеться, отчаянная смелость во время самых сложных скачек — словом, у Елены Петраковой не было недостатка в поклонниках, хотя она и не желала их знать. Скачки, лошади, а, может, и не только лошади?

Она не вернулась и утром.

— Ленка... Черт с ней, кобыл жалко,— вскричал экспансивный генерал, обнаружив в своей конюшне пропажу чуть ли не лучших лошадей — Гитаны и Лавы. Когда же стало известно о том, что штабс-капитан второго ходжентского батальона Виктор Адамович Пяновский перевелся куда-то в Семиречье и вчера неожиданно выехал из Ташкента — все стало понятным. Они сразу оказались вне общества, которому принадлежали, сразу оказались в изоляции, дальним эхом отзывающейся даже теперь, когда никого из главных действующих лиц давно нет в живых, когда ничего не осталось вообще от той жизни, ведь не только десятилетия прошли, эпоха другая!

— Пяновский? Тот самый, что оставил семью, сбежав с взбалмошной генеральской дочкой? Петракова? Та, что сбежала с семейным офицером, прихватив вместо приданного двух лучших отцовских лошадей? Тонкие старческие губы презрительно поджимаются, словно говорить больше не о чем. Но как же не о чем говорить, не сказав ни слова о том, что все объясняет и ставит на свои места?

Завсегдатаи офицерских скачек на ташкентском ипподроме приметили его еще в 1895 году. Имея двух карабаиров и одного туркменского скакуна, Пяновский довольно успешно выступал в состязаниях, а потом

вдруг продал лошадей, все свое более чем скромное имущество, вплоть до ружья и фотоаппарата и, взяв жалованье за несколько месяцев вперед, уехал в Россию. За чистокровным жеребцом. Конечно, это было нелепой затеей, потому что избалованная чистокровная лошадь, чистокровный «англичанин» туркестанского климата не вынесет и, разумеется, сдохнет. Да и как доставить эту лошадь в Ташкент, ведь железной дороги на Оренбург пока нет? Через Каспий? А потом по красноводской дороге на Ашхабад?

Когда плыли через Каспий — угодили в шторм. Ошалелый Альбертон чуть не выпрыгнул за борт, а раскаленный товарняк Закаспийской железной дороги и вовсе доконал молодого «англичанина», свалив его приступом сильнейшем малярии. Тем не менее на первых же летних скачках Альбертон «далеко за флагом» оставил всех соперников, разом окупив себя чуть ли не в десять раз. «Англичанин» был первым в пятидесяти шести скачках, тридцать пять раз приходил на Альбертоне к победе сам Пяновский. Он забирал почти все призы, покупал на эти деньги новых лошадей, и вскоре у него была лучшая на весь Туркестан конюшня. Не ради тщеславия или денег, просто — любил лошадей. И это не могло не сблизить его с Леной Петраковой, хотя она была младше его на десять лет.

* * *

Познакомил их Василий Васильевич Присухин. Собственно, Присухин только представил Виктора Адамовича, свел же их все тот же ипподром, круг. Да и Присухина с Пяновским сблизили те же лошади, то же самое увлечение, которому были безраздельно отданы их заботы и мечты. Пяновский увидел Присухина на сборном пункте, куда штабс-капитан приехал

отбирать новобранцев для своего полка. Спросил о том, о сем, довольно воскликнул: «Смотрите, какой пацан к нам попал». А «пацану» в том, 1903 году был 21 год, из которых он половину, рано оставшись сиротой, проработал в конюшнях коннозаводчика Ильенко, графа Красинского, у тренера Шарфа на московском ипподроме, у американца Винкфильда. Сначала доверяли разве что чистить удила, потом — убирать конюшню, потом стали брать на тренинг молодняка, поручать самостоятельную проездку. Стал заправским конюхом, жокеем, потом получил призовые часы, прийдя вторым на скачках двухлеток. Он был худощав и невысок, совсем как мальчишка. И совсем как мальчишка не мог спокойно пройти мимо коня.

— Смотрите, какой пацан к нам попал,— довольно повторил Пяновский и тут же забрал его в учебную команду.

Они подружились. «Пацан» был одержим идеей создания в Ташкенте скакового общества, и Пяновский начал долгие хлопоты, чтобы освободить Присухина от несения службы. Начали строить ипподром, разбили дистанции, а первые скачки, устроенные новорожденным обществом, имели такой успех, на который они, в общем-то даже не рассчитывали. Но тут началась русско-японская война, Пяновский ушел на фронт, и Присухин словно бы осиротел во второй раз. Теперь о Викторе Адамовиче напоминали разве что визиты его жены, требовавшей от скакового общества каких-то денег. Денег у Присухина не было, а всяческие свидетельства того, что госпожа Пяновская не очень огорчена длительной разлукой с мужем, делали ее визиты и вовсе неприятными. Но терпел. Все-таки Пяновская.

Были и другие гости. Приехал как-то генерал Петраков с дочерьми. Походил по тренконюшне, постучал сапогами, покрякал.

— А вот что, братец, не выучишь ли ты мою Ленку через барьеры прыгать? Офицеры у меня дрянь, в седле как коровы, так пусть хоть Ленка покажет, как нужно барьеры брать, а?

— Извольте, ваше высокопревосходительство, только где учить-то, барьеры у нас, сами видите...

— Хитер. Что нужно?

— Лес, жерди, чийники, хворост,— обрадованно заспешил Присухин.

На следующий день на ипподроме работали присланные генералом плотники. Появились камышевые барьеры, стенки с канавой, другие препятствия, можно было начинать. Ученица оказалась отчаянной! «Где там ей, через чийник и офицеры не берут»,— зубоскалили конюхи. Прыгнула. С первого же раза. Чуть зацепила, но это не в счет даже на соревнованиях. И пошло. Жерди — чисто. Стенку с водой — чисто. Оставалось еще одно препятствие — латвийская корзина, но к этому барьеру Присухин ее не допустил. Пытался не допустить. Все-таки опасно. Высокая жердь, обматывается соломой, поджигается...

— Ну и что?

— Нет, не пущу, испугается лошадь — потом отвечать...

— Ах, отвечать... — Тут же написала расписку. Конюхи и те отговаривали — ни в какую. Пришлось принести кожаный костюм, а платок на голову, чтоб не загорелись волосы, привезла сама. Поставили барьер, запалили. Присухин отвернулся. И ведь прыгнула! Сквозь дым, пламя — пронеслась, только искры за ней столбом ударили, только брови опалила. Платок стаскивает, чумазая, хохочет.

— Ну вот, а вы боялись...

Счастлива.

Потом на плац приехала батарея. На учения. Крутятся офицеры на лошадях перед барьерами, а взять

не могут. Доволен генерал. Усы крутит. — Белоручки, — гремит над полем его голос,— у барышни поучитесь, у моей дочери, как нужно в седле держаться. Воины!

Не знал, да и как мог знать бравый генерал, чем обернется для него эта минута сладкого торжества. Вернулся Пяновский. Приехал печальный и усталый, вдоволь насмотревшийся на кровь и смерть, на гнусность и бессмысленность. В тот же день появился на ипподроме. Словно только сюда и стремился. Увидел Петракову. Пикантные амазонки — сплошная грация, сплошной шарм — не были невидалью в местном обществе. Но нет, эта без дураков, знает, что такое лошадь, как с ней обращаться. Знает.

— Кто такая?

Присухин рассказал.

Прошел год.

Однажды, когда они были одни, Пяновский сказал:

— Хочешь секрет, Василь Васильевич? Уедем мы с Еленой Александровной. Ты мне как брат родной. Поможешь?

— Что ж, она простая, не как генеральская,— подумав, согласился Присухин. А все же спросил:

— Как же супруга, Виктор Адамович?

— Так вот, хотим мы ехать с Еленой Александровной,— словно не расслышав вопроса, повторил Виктор Адамович,— хотим ехать. Помолчав, добавил: — Ты же знаешь, Василь Васильевич, на мне свет клином не сошелся... Для супруги...

В батарее заказали бричку. Заказал Присухин, будто бы для себя, но чертежик, что и как делать, рисовала она, Елена Александровна. Тайком собрались. Тайком выехали. И жаль было их. И завидовал им Василий Васильевич, как ни завидовал еще никому на свете. Перед ними лежала вольная степь, ее сгоревшие на солнце маки, все то, что задумал, выносил в себе

этот уже немолодой, но в самой поре сил и азарта человек — Виктор Адамович Пяновский.

Присухин проводил их до Чимкента, вернулся с рабочими лошадьми. Сотня верст туда, сотня обратно, не успел отдохнуть — генерал на пороге.

— Куда дели Елену?

— Не могу знать, ваше высокопревосходительство.

— Не крутить! Думаешь, в штатское вырядился, так пройдет? Под суд отдам! Где Елена?

— Не могу знать.

— Где Пяновский?

— Не могу знать. Разве в полку нет?

— Молчать!

Через месяц — почта. Одно письмо — Петракову, другое — ему, Присухину. — Здравствуй, дорогой Василь Васильевич, скоро приедем за тобой, круг в Пржевальске выбирать, поедешь?

Генерал нагрянул. Письмом размахивает, но уже, видно, отошел.

— Так что же, братец, знал, значит?

— Знал, ваше высокопревосходительство.

— И молчал?

— Приказ был, ваше высокопревосходительство. Вы б сказали?

— Шельма... Честью прикрылся?.. Ленка, черт с ней, кобыл жалко!

* * *

В Москве мне посоветовали позвонить Павлу Александровичу Гофману, дали телефон. Разговор по телефону не получался. Человек на том конце провода очень спешил. Да, он очень занят. Нет, встретиться не сможет, ни сегодня, ни завтра. Он тоже сожалеет, а кто с ним говорит, откуда? Из Киргизии? Как, из

Киргизии? Что ж вы сразу не сказали! Ныряйте в метро, станция Профсоюзная, назад по ходу поезда, дом рядом с магазином, пятый подъезд, шестой этаж, да живей, иначе не застанете...

Из Киргизии? Боже мой, земляки! Ну как же, столько лет, столько пережито, он совершенно не представляет, как там теперь стало! Вам приходилось видеть эту фотографию? Это первый Учредительный съезд конезаводства, снимались на Московском ипподроме, вот в центре — Брусилов, помните «брусиловский прорыв»? Замечательный человек. Сразу перешел на сторону революции, был главным инспектором государственного конезаводства, председателем особого совещания при Реввоенсовете республики... А вот он, комбриг Гофман, попал на съезд по командировке Фрунзе, член партии с июня 1917 года, из безземельных латышей — арендаторов, агроном с уклоном в животноводство, бывший вольноопределяющийся первого разряда... А вот Пяновский. Чем был хорош Пяновский? О нем много легенд, сказок всяких рассказывают — не этим! Он — дело делал, а о себе не думал, первый друг и советчик крестьянина, кочевника, радовался успехам всех коневодов, больших и малых, он был общественником, в лучшем смысле этого слова, поэтом своего дела!

Гофман оказался в Пржевальске в связи с организацией Иссык-Кульского конного завода, перекочевывал с семьей, с целым обозом и табуном. Киргизию знал неплохо, создавал совхозы, конезавод в Нарыне, был директором Кирплемтреста, пока распоряжением Туркфронта не был отозван в Дегерес. Но самые яркие впечатления — это, конечно, Урюкты, Пржевальск. У них был неписаный закон — на территории конезавода охоты нет, так козлы в табунах ходили! Охоту любил, бил волка с коня, выезжал с беркутом на лис. Но что он, Гофман? Лященко Григорий Федорович —

вот кто первейшим охотником по праву считался, а коваль, коваль какой был Григорий Федорович!

Везло Урюктам на людей! Хотя бы Присухин. Один из лучших тренеров страны, природный талант дистанционной скорости, на англотуркменах обыгрывал чистокровных, вот что делал! Он чувствовал лошадь, умел готовить самых трудных, прекрасно работал с местными, туркестанскими лошадьми, а всех своих — Венеру, Струю, Мери — безвозмездно передал заводу — целое состояние, уж у него-то плохих лошадей не было!

Ну как же, как же, знал и Елену Александровну. Кажется, это был 1922 год. Приехал Петр Ионович Баранов, знакомый по Южному фронту, по службе у Фрунзе; решили ему показать, на что способны, устроили конкур. Конечно же, и Елена Александровна среди участников. В арабском костюме, в седле не шелохнется — хороша! Выехала на Байрактаве. Великолепный конь! Хвост отставлен, уши — лирой, грива — шелковая, кожа — как сметана, вся кровяная сетка на виду, ноздри в кулак! И началось. Через латвийскую корзину! Через накрытый стол! Через телегу с впряженными лошадьми. Гляжу на Баранова, каково, дескать, а он как взорвется!

— Прекратить, кто дал право рисковать людьми! В трибунал сдам!

— И мог бы,— засмеялся Гофман,— как-никак, член Реввоенсовета Туркфронта!

Поднялся. Значит, пора. Сухонький, подвижный старичок с напористой, быстрой речью. Жаль, но ему действительно пора, тренерская работа, главный судья по конно-спортивным и национальным играм. Каждый день — в седле, вот и сейчас на ипподром — ждут! Сколько ему лет? Пожалуйста, семьдесят шесть. А вы занимаетесь конным спортом? Жаль-жаль. Подкову и ту на счастье находят, а конь...

И уже распрощавшись, вдруг окликнул.

— Да, минуточку, я слышал, Присухин жив, где-то там, в Чолпон-Ате деньки свои доживает. Это правда?

* * *

Это оказалось правдой. Сведущие люди объяснили, что когда старик уходил на пенсию — конезавод подарил ему небольшой домик. Там же, при конезаводе. Адрес? Зачем? Любой мальчишка скажет, где Присухин живет, живая летопись!..

Любой мальчишка Присухина не знал. И те встречные, которые мне попадались на студеной, продутой декабрьским ветром главной чолпонатинской улице тоже не знали Присухина, да и не слыхали о нем. Летом в таких ответах не было бы ничего удивительного, летом курортный Чолпон-Ата забит приезжими, отдыхающими людьми, но в зимний вечер тут можно встретить только здешних. А они Присухина уже не знали.

Наконец, кто-то сказал.

— Василь Васильевич? Это вот, в переулок. Не зря ли только идете? Что-то не видно давно старика, сколько ему, под девяносто?

В этот вечер я пришел зря. Вышла хозяйка, выслушала, сказала, что Присухин слаб, болен, словом, не примет. Может, зайдете завтра? Конечно, зайду! Казалось, история, «дела давно минувших дней», связи обрублены, перечеркнуты временем, ан нет, за этим забором, в этом тихом домишке теплится та самая живая душа, без которой был бы невозможен этот рассказ. На следующий день он меня принял. И принял в штыки. С трудом утвердившись на ногах, слабый, как ребенок, маленький, сморщенный, с головой, мягко поросшей белым пушком, он яростно тыкал дрожа-

щим пальцем в какую-то газетную вырезку, в которой, как оказалось, на весьма романтической волне описывался «побег» Пяновского и Петраковой.

— Это я-то на козлах сидел? Это мы-то с Виктором Адамычем скаковых, чистокровных лошадей в экипаж запрягли? «Вася, родимый, гони»? Чего же меня перед смертью посмешищем делать?

Хозяйка внесла чай, и это меня выручило. Разговор перешел на Пяновского, на самого Василия Васильевича, старик немного успокоился, начал вспоминать, рассказывать. После отъезда друзей, он еще долго оставался в Ташкенте, в скаковом обществе, у него на чердаке собирались, печатали свои листовки-летучки революционно настроенные саперы, поднявшие потом восстание и поплатившиеся за него кто каторгой, а кто и жизнью. Потом — первая империалистическая, Западный фронт. Присухин вернулся оттуда весь в Георгиях, стал действительным членом Союза Георгиевских кавалеров. Это пригодилось. После февральской революции в ведении Союза находился ташкентский арсенал. Когда же, впоследствии, Якову Логвиненко, командиру Первого Красного пишпекского полка понадобилось оружие и боеприпасы — Присухин смог загрузить тяжелыми ящиками три армейские двуколки и по ночам, по над горами, в обход объятых кулацким восстанием сел, пробраться в осажденный Пишпек. Логвиненко был страстным лошадником, отсюда и знакомство. А что не сделаешь для товарища, если он, к тому же, понимает толк в коне!

В девятнадцатом году Присухин перебрался в Прииссыккулье. К Пяновскому. Когда Виктор Адамович умер — Елена Александровна в себя не могла прийти, одно твердила — Василь Васильевич, давай бросим все и уедем в Ташкент!

Остался. Работал и учил работать других. Получал призы и грамоты. В грамотах значилось: «За большие

достижения в деле количественного и качественного выращивания коня...»

Хозяйка убрала со стола, застегнула на Василь Васильиче ватничек, натянула ушанку. Тут только я почувствовал, что в комнате прохладно, может, даже и нетоплено. Да, сегодня не топили. Уголек приберегают. Прошлогоднего — немного осталось, а все морозы — впереди. Ходили насчет угля. Говорят, своих работников обеспечивать не успеваем, не до посторонних.

— Посторонних? — неосторожно переспросил я, тотчас пожалев об этом. По лицу Присухина потекли слезы.

— Посторонних! Я первое время наведывался и в конюшни, и на круг, подсказывал, если непорядок какой увижу. Смотрю — коситься на меня начали. Надоел я. Ладно, думаю, не буду ходить. А душа-то болит! Уехать бы, да куда? Поздно! Я ведь чего здесь застрял? Пяновскому обещал. Он, когда кончался, сказал: «Об одном прошу, Василь Васильевич, не оставь завод».

Присухин снова разнервничался, снова требовал от меня ответа, но если вначале я вынужден был отдуваться за своего брата-журналиста, то теперь — не знаю уж за кого и за что. Да и нечего мне было отвечать, молчал.

— Эспарцет, хороший корм, ничего не скажу,— тихо кричал, утирая слезы, Василь Васильевич,— но его же скосить вовремя надо, убрать вовремя, а то ждут, чтоб вымахал, чтоб больше стало, а потом хватают — вон сколько грубых кормов заготовили, на столько-то процентов больше... А на что лошади эти проценты, если в стебель палец влазит, а на всем пруте — два-три листика и осталось? Дрова! Печку топить, а его лошади суют. А ты лошади лучше клочок дай, но чтоб все листики были, чтоб цвет, аромат был, чтоб

самому того сена поесть захотелось! Вот узнаю, что двадцать шесть кобыл мертвых жеребят принесли. Комиссия приехала, голову ломают, что и как, а причина простая! Соку нет — вот и весь сказ. Может, я устарел. Может, не понимаю чего, но вот скажи сейчас, что благородному животному в неделю раза два кашицу сварить надо, чтобы желудок прочистить да смягчить — смеется зоотехник.

— А сахару вашему благородному животному не надо?

— И сахар нужен, дорогой ты мой, и душа нужна. Сколько лет призов не берем на скачках, это наш конезавод! А почему? Да потому, что работают без души!

Тренера пьют.— Что ж вы, говорю, сукины дети, делаете, как вы к лошади после этого подходить смеете? — Ладно тебе, Василь Васильевич,— отвечают они мне,— с нами так и мы так. — А как с вами?

А их вот что, гоняют с места на место, сегодня — одна работа, завтра — другая, да еще база теоретическая под это дело подведена, дескать, конь — не профилирующий ныне вид продукции, обуза одна, расход и все. Но ведь нельзя так говорить, зачем у людей любовь к живому рушить, веру их ломать? Да и как это так, кто выдумал? Горы — без коня? Чабан — без коня? Солдат на границе — без коня?

Пятидесятилетие конезавода отмечали. В Москве вспомнили Присухина, открытку прислали, а свои — нет. Не вспомнили. Не зашел даже никто. А ведь всю жизнь положил. Коней своих семерых, как отцу родному, отдал, копейки не взял. А кони какие, вспомню — пяткам горячо, правду говорю! Ну, ладно! Ну, уважили. На кого же обижаться? На всех нельзя обижаться, как есть — так и есть.

В отпуске ни разу не был. Все хотелось на родину съездить в село Ломово, поглядеть, откуда по свету

пошел. На курорт всю жизнь прособирался, хоть раз глянуть, что это за штука такая — курорт! Какое! Разные были директора, а ответ один: «Ты что, Василь Васильевич, какой сейчас отпуск, вот проведем расплодную... Так и жизнь прошла! А не хочется помирать, дорогой ты мой, еще б пожить! А на ноги встанешь — нет, не держат, нет, Василь Васильевич, отжил ты свое, правду говорю!

...Хозяйка молча запирает калитку. Ночь. В голых ветвях гудит ветер. Под ногами хрустят сбитые сучья, скрипит песок. Снега нет, все черно и сквозно, но ночь не темная, прозрачная, с круглой ледышкой луны. Гостиница рядом, за спуском, только сбежать с лестницы, а надо опомниться, хоть для себя разобраться в том, что в горечи и смятении выплеснул сломленный старческой немощью человек. В самом деле, как все это соизмерить — прожить такую щедро отпущенную жизнь, полную ветра и солнца, счастливого упоенья далью и стуком копыт, бархатной теплотой лошадиных губ, шумом трибун, дружбой близких по духу людей, ощущением своей значимости, своего признанного другими уменья и труда! Столько видеть, испытать, и вдруг в слезах и обиде предъявить этой жизни счет, поскольку чего-то недополучил. Нет, ничего не нужно оставлять на потом, самого, казалось бы, пустякового, самого необязательного — ничего! Кто знает, чем окажется для тебя это желание на склоне лет. Захотелось поглядеть родные места — съезди и непременно. Взбрело в голову вкусить, «как люди», курортной жизни — махни на все рукой и поезжай. Вот только если забудут тебя, когда, отслужив, отработав свое, выйдешь из строя — тут уж ничего не поделаешь. Да и не в этом суть... И не в «художественных» вольностях главный грех той, в общем-то, обычной газетной корреспонденции, за которую ввиду отсутствия автора Василь Васильевич обрушился на меня. Экая пастораль! Пора-

ботали энтузиасты в свое время — и вот, пожалуйста, можно греться на завалинке, блаженствовать в лучах славы и любоваться проходящим мимо парадом свершений. Не получается так. И не может получиться. Живое дело — не капитал, чтобы, вложив однажды, знай стричь проценты, само идет!

Само ничего не идет. Само может только катиться под уклон, зарастать быльем. А в гору нужно двигать. Двигать плечом. И если это плечо устало — плечо сменщика должно быть не слабее — сильней.

А ведь я видел это плечо. Они так и получились на фотографии — маленький, старенький Василь Васильевич, а рядом с ним, обняв, притянув старика к себе правой рукой — двухметрового, богатырского сложения человек в военной форме — Николай Григорьевич Лященко, генерал армии. Сын того самого, конезаводского кузнеца. Да и сам тоже работал молотобойцем. И лошадей ковал. Потом — армия. Потом — Испания! Потом Великая Отечественная, от начала и до конца. И еще двадцать лет армии, ответственнейшей, военной и государственной деятельности. Но старика не забыл. И тот уголек, что так бережет хозяйка, что согревает домик Присухина в морозные вечера — он привез, Николай Григорьевич, и не в первый раз. Нашлось у командующего округом время вспомнить и позаботиться об этом. Впрочем, так, наверное, и должно быть. Кто знал — тот не забыл...

Мимо гостиницы, мимо автобусной стоянки и куцых базарных рядов, мимо последних внезапно оборвавшихся домов и уснувших на берегу озера ночных корпусов санатория «Иссык-Куль»... Туманная ширь искрится, переливается, лунная дорожка завораживает, как в июле, впору поверить в лето, в парное тепло прогревшейся за день воды, но черный берег отбит белой строчкой ледяного припая, враз ставящего все на свои места, как черта знаменателя.

Дорога ныряет в зеленомраморные пропилеи светящихся тополиных стволов. Две внешние шеренги веером выгнуты к морю и горам, две внутренние — сомкнулись над шоссе в торжественную аркаду. Сколько ни ездил по Киргизии — ничего похожего не встречал. Видел всяческие рощи, сады и парки, лесные полосы и посадки, видел многовековые, огромные платаны, кряжистые орешины с драгоценными наплывами капа, тополя, больше похожие на баобабы своими раздавшимися вширь тушами, но вот такого почетного караула рослых, один к одному, светлотелых и чуть склоненных над землей гвардейцев нигде примечать не приходилось.

Аллею эту закладывал директор Рапопорт. О Рапопорте мне рассказывали и Гофман, и Ливотова, и вот — Присухин. Отчаянный Ленька Рапопорт! В неполные двадцать лет сражался в рядах легендарной дивизии Киквидзе, был комиссаром, командиром Первого трудового казачьего полка. Для него, Леонида Львовича Рапопорта, история прославленной Первой конной Буденного — это еще и страничка личной биографии. За беззаветную храбрость, проявленную на Южном фронте, он принимает из рук командования орден Красного Знамени и именное оружие, второй орден Красного Знамени он привинтил после взятия Бухары, после разгрома Энвер-паши и Ибрагим-бека. Он приезжал в Пржевальск с военно-ремонтной комиссией, за лошадьми для Красной Армии, и его нетрудно было увлечь идеей создания на Иссык-Куле крупного государственного конезаводства. Идею эту в свое время выдвинул Пяновский.

* * *

Странный это был штабс-капитан, чужды были ему и добрые офицерские кутежи, и верная подруга серых гарнизонных вечеров — колода карт. Вернувшись с

русско-японской войны, взял месячный отпуск, не имея средств разъезжать на почтовых лошадях — купил велосипед. Уже тогда одолевала его мысль о выведении новой, приспособленной к условиям Туркестана лошади, и вот отправился искать место, где бы этой работой заняться. Вот так, на велосипеде и поехал смотреть Семиречье, иногда применяя в качестве двигателя косой морской парус. На Курдай выехал и вовсе на буксире: обогнал его на подъеме всадник — киргиз, пожалел, бросил конец веревки — цепляйся!

Две тысячи верст проделал по Семиречью необыкновенный по тем временам велосипедист-марафонец, прежде чем остановил свой выбор на Пржевальске. Продал всю свою конюшню, за исключением Альбертона, купил несколько чистокровных маток, и перед тем, как покинуть Ташкент, наверное, объяснился с Еленой Александровной. Это было их свадебное путешествие. Оно длилось тридцать два дня, маток пришлось вести в поводу, одна лошадь пала, другая чуть не утонула при переправе через Чу, а конюх заболел тифом, и его пришлось тут же отправить в лазарет.

«Могилой для дальнейшей служебной дороги, куда обыкновенно попадали офицеры или за провинности, или которым нет места в строю» — назвал Пяновский Пржевальск тех дней, нисколько, надо полагать, не сгущая краски.

«Но поставив сознательно крест над своей служебной карьерой ради любимого дела,— писал Виктор Адамович в одном из своих ходатайств в Управление Земледелия и Государственных имуществ,— у меня была твердая надежда на светлое будущее... Как знать, быть может Государственное коннозаводство, видя успешность дела здесь, перенесет большую часть своей деятельности именно сюда, в беспредельные степные и горные пространства Туркестана вообще и Семиречья в частности. Начало сделано».

Что же Пяновский пытался осуществить? Он мечтал вывести лошадь «под офицерское седло» и хороших рабочих лошадей. Он организовал общество поощрения конезаводства, устраивал скачки, он пускал своих лошадей вне конкурса, потому что они неизменно приходили первыми, а это могло отбить охоту у других. К нему пошли за советами, за его жеребцами, охотно брали и его лошадей. Он содержал этот заводик на свое жалование, а когда денег не хватало — смирял гордыню и рисовал вместе с Еленой Александровной иконы для здешних церквей.

Кто не слышал о достоинствах горной киргизской лошади, внешне неказистой и малорослой, но выдерживающей пробеги по 100—150 километров? Да, у нее низкая холка, косолапость, свислый круп, есть прочие недостатки, но зато у нее крепкие спина и копыта, а какая другая лошадь может добывать себе корм из-под снега? Как улучшить ее? Путем отбора «в себе»? Ведь метизация с изнеженными чистопородными лошадьми лишь испортит знаменитую киргизскую «ат».

Не мог согласиться с этой распространенной точкой зрения Пяновский. И спор этот должны были решить скачки. Дело происходило в Верном, в 1913 году, на II съезде ветврачей Семиречья. Пяновский верил в своих лошадей, в свою правоту, именно он настойчиво добивался скачек и... проиграл их. Это было крахом, бедствием, в это трудно было поверить, но факт оставался фактом: первым двадцать шесть верст по пересеченной местности преодолел наездник Идрисов на знаменитом киргизском скакуне Кок-Кашка.

Этого не могло быть! И Пяновский добивается новых скачек, но теперь уж на пятьдесят три версты. Можно представить, что пережил этот человек, какие страсти бушевали на окрестных зеленых холмах, пока на финишной прямой не показалась Лотарингия, чистокровная кобыла с его, Пяновского заводика. А Кок-

Кашка был вторым. А третьим был Нептун, лошадь опять — таки его, Пяновского заводика, оставивший за флагом десятки прочих лошадей.

Многие сошли с дистанции. Многие наездники вылетели из седла. А на Нептуне скакала женщина, и третье место ее явно не устроило, она чуть не плакала от досады, сетуя на то, что тренировала Нептуна для ипподрома, и потому пересеченная местность оказалась для чистокровного скакуна непривычной. Это была Петракова. Как же она могла не участвовать в скачках?

Победа окрыляла. Но лететь было некуда. Они попрежнему испытывали нужду, попрежнему Пяновский писал, начиная с памятного для них 1907 года, прошения во все инстанции о сдаче заводу в аренду хотя бы сотни десятин земли, потому что нечем было кормить лошадей. Никто не отказывал, все отмечали, что «начатое им дело поставлено очень прочно и обещает огромную пользу всему краю», но дальше этих признаний и комплиментов дело не шло. Казенная машина скрипела, перемалывала время в невидимый, бесплодный прах, выплевывая недоступные здравому смыслу бумаги, от которых не хотелось жить.

«Департамент государственных земельных имуществ имеет честь просить Департамент государственного казначейства не отказать в сообщении отзыва Министерства финансов на отношение Главного Управления Землеустройства и Земледелия от 18 сентября 1912 года за № 3152 по вопросу об отдаче в аренду без торгов капитану Пяновскому участка казенной земли близ г. Пржевальска для надобностей конного завода...»

Пяновский так и не дождался обещанной ему помощи, а после революции передал свою конюшню в Урюктинский государственный племенной рассадник. Это были первые лошади Иссык-Кульского племенно-

го завода, а первым управляющим рассадника была Елена Александровна Петракова. Теперь она редко виделась с Пяновским, назначенным Главным управляющим конезаводства и коневодства Туркестанской республики. Самая бы пора работать! И вдруг в 1922 году — тиф. Во время командировки, в Аулиэ-Ата. В том самом городе, откуда он и Елена Александровна дали однажды телеграмму генералу Петракову, чтоб о них не беспокоились.

Он завещал похоронить его в Пржевальске, и она выполнила эту просьбу. Она прожила без него ровно тридцать лет, скончавшись в должности зоотехника где-то под Ташкентом. В последний раз она села на лошадь в 68 лет, за два года до смерти. И всю свою жизнь рисовала лошадей. В одном из совхозов, недалеко от Ташкента, собрано около семидесяти ее картин. Она дарила их товарищам по работе, рисовала новые, ей негде было их хранить, она не сидела на месте, она даже свой портрет работы ташкентского фотографа Немцовича подарила Ливотовым, потому что просто не могла возить его с собой по горам. Ливотовы подарили портрет ипподрому. Сочли, что так будет правильней. А на память оставили две акварельки. Ливотов познакомился с Пяновским и Петраковой в Верном, на тех драматических скачках, когда Виктор Адамович доказал все-таки свою правоту. Именно тогда «кентавры» из Пржевальска уговорили Ливотова переехать к ним, в Пржевальск, чтобы вместе, рука об руку делать общее дело. И точно также Ливотов перетащил впоследствии в Прииссыккулье лихого конника и замечательного организатора—Рапопорта. Леонид Львович окончил школу красных директоров и стал во главе первого в Киргизии социалистического хозяйства — конезавода № 54. Это — Чолпон-Ата. А тополевая аллея в Чолпон-Ата — это аллея Рапопорта. А известные на всю страну скакуны ново-киргизской

породы — та самая цель, к которой шли и Пяновский, и Рапопорт, и ныне здравствующие мастера конезаводства и коневодства Киргизии. Им и дальше нести эту живую, драгоценную эстафету. Бегуны знают, как важно точно и вовремя передать заветную палочку. Можно очень хорошо пройти дистанцию и... не достичь цели, не сумев передать жезл своему продолжателю, не найдя его с запозданием протянутой руки. Это очень серьезная вещь — смена караулов. Это вопрос жизни — преемственность.

В тот вечер, слушая Присухина, я то отодвигал, то вновь придвигал к себе ту в общем-то заурядную любительскую фотографию, на которой Василь Васильевич, как к скале, привалился худеньким плечиком к надежной груди Николая Григорьевича... Может, оттого, что увидел в этом простом снимке единственно приемлемую для нас формулу взаимоотношений того, что было, того, что есть и того, что будет.

1966—1972 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Спичечный коробок земли 3
Туркестанский сборник 5
Серебряный глобус 8
Дуэль 46
«Обещаю усердно действовать» 64
Библия, Иссык-Куль и уездный начальник . . 76
Одиссея Мерцбахера 80
По лезвию Тенгри-Тага 83
Сырты 99
Подними подкову 120

Дядюченко Леонид Борисович

СЕРЕБРЯНЫЙ ГЛОБУС

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Редактор *В. Бобылев*
Художник *В. Максимов*
Худ. редактор *И. Бульба*
Худож. редактор *Р. Ревенко*
Корректор *Б. Калыгулова*

ИБ № 145

Сдано в набор 25/X-1977 г. Подписано к печати 27/I-1978 г. Д—02420. Бумага типографская № 1, формат 70×108$^{1}/_{32}$, 4,5 физич. печ. л., 6,30 условн. печ. л., 6,06 учет.-изд. л. Тираж 15000. Заказ № 470. Цена 55 к.

720737, ГСП, Фрунзе, Советская, 170, издательство «Кыргызстан»

720461, ГСП, Фрунзе, 5, ул. Жигулевская, 102, Киргизполиграфкомбинат им. 50-летия Киргизской ССР Госкомиздата Киргизской ССР.

55 к.



·Кыргызстан· 1978